

ДИНА РУБИНА

ШКОЛА БЕГЛОСТИ
ПАЛЬЦЕВ



Дина Ильинична Рубина

Школа беглости пальцев (сборник)

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=165826
Д.Рубина Школа беглости пальцев: Эксмо; Москва; 2008
ISBN 978-5-699-28507-5*

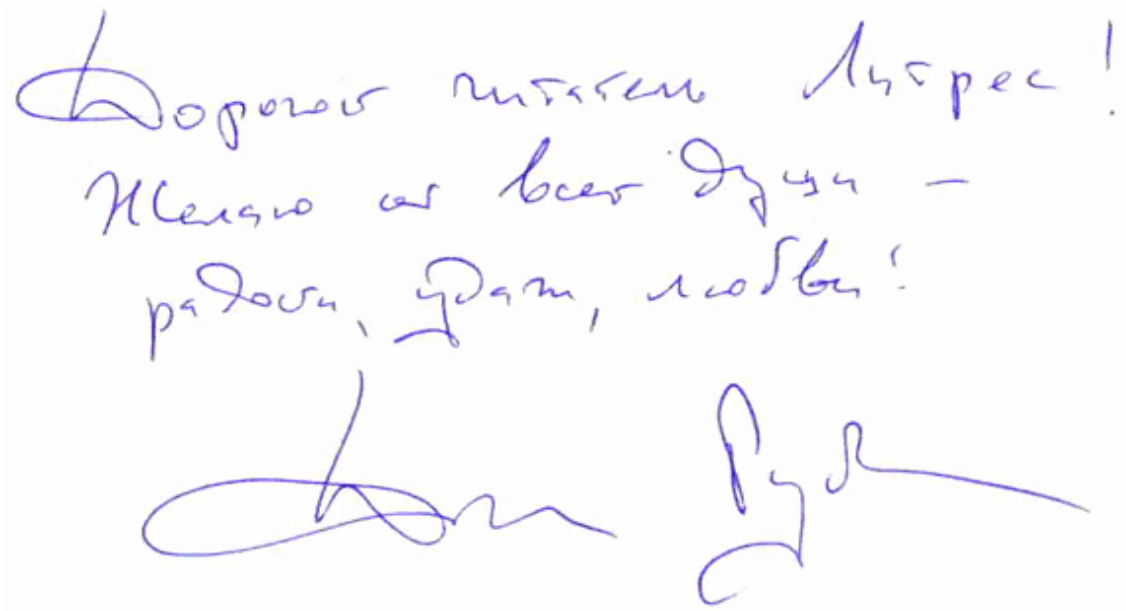
Аннотация

«Я давно уже оплакала музыкальный репертуар моего детства. „Сонатина“ Клементи... „Турецкое рондо“ Моцарта... Бесконечное однообразие этюдов Черни... Сейчас мои пальцы бегут разве что по клавишам компьютера. Но порой нога бессознательно еще пытается нащупать педаль: смягчить тот или другой „звук прозы“, притушить интонацию... Все же накрепко застревает в нас детство – его свет, его слезы, и эти южные звезды, что висели когда-то над самой макушкой, лепетали, мигали, кружили... а с годами тускнеют почему-то и удаляются от нас все дальше и дальше».

Содержание

Когда же пойдет снег?	5
Двойная фамилия	26
По субботам	47
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Дина Рубина Школа беглости пальцев



Когда же пойдет снег?

Светлой памяти Владимира Николаевича Токарева посвящается

За ночь исчезли все городские дворники. Усатые и лысые, пьяные, с сизыми носами, громадные глыбы в коричневых телогрейках, с прокуренными зычными голосами; дворники всех мастей, похожие на чеховских извозчиков, – все вымерли за сегодняшнюю ночь.

Никто не сметал с тротуаров в кучи желтые и красные листья, которые валялись на земле, как дохлые золотые рыбки, и никто не будил меня утром, переключаясь и гремя ведрами.

Так они разбудили меня в прошлый четверг, когда мне собирался присниться тот необыкновенный сон, даже не сон еще, а только ощущение надвигающегося сновидения без событий и действующих лиц, все сотканное из радостного ожидания.

Ощущение сна – сильная рыба, бьющаяся одновременно и в глубине организма, и в кончиках пальцев, и в тонкой коже на висках.

И тут меня разбудили проклятые дворники. Они гремели ведрами и шаркали метлами по тротуару, сметая в кучи прекрасные мертвые листья, которые вчера еще струились в воздухе, словно золотые рыбки в аквариуме.

Это было в прошлый четверг... В то утро я проснулась и увидела, что деревья пожелтели вдруг за одну ночь, как седеет за одну ночь человек, переживший тяжкое горе. Даже то деревце, которое я посадила весной на субботнике, стояло теперь, вздрагивая золотистой шевелюрой, и было похоже на ребенка с взлохмаченной рыжей головкой...

«Ну, началось... – сказала я себе, – приветик, началось! Теперь они будут сметать листья в кучи и сжигать, как еретиков».

Это было в прошлый четверг. А сегодня ночью все городские дворники исчезли. Исчезли, ура! Во всяком случае, это было бы просто здорово – город, заваленный листьями. Не наводнение, а налистнение...

Но скорее всего я просто проспала.

Сегодня воскресенье. Максим не идет в институт, а папа на работу. И мы весь день будем дома. Все втроем, весь день, с утра до вечера.

– Дворников больше не будет, – сказала я, садясь за стол и намазывая масло на кусок хлеба. – Все дворники кончились сегодня ночью. Они вымерли, как динозавры.

– Это что-то новенькое, – буркнул Максим. По-моему, он был сегодня не в духе.

– А я редко повторяюсь, – охотно согласилась я. Это было началом нашей утренней разминки. – У меня обширный репертуар. Кто сделал салат?

– Папа, – сказал Максим.

– Макс, – сказал папа. Это они сказали одновременно.

– Молодцы! – крикнула я. – Не угадали. Салат сделала я вчера вечером и поставила его в холодильник. Там он, я полагаю, был найден?

– Да, – сказал папа. – Бестия...

Но и он сегодня был не в духе. То есть не то чтобы не в духе, а вроде бы чем-то озабочен. Даже эта утренняя зарядочка, которую я запланировала с вечера, успеха не имела.

Папа минут десять еще покопался в салате, потом отложил вилку, уперся подбородком в сцепленные руки и сказал:

– Нужно обсудить одно дело, ребята... Я хотел с вами поговорить. Вернее, посоветоваться. Мы с Натальей Сергеевной решили жить вместе... – Он помолчал, подыскивая еще какое-то слово. – Ну-у, что ли, связать свои судьбы.

– Как? – ошалело спросила я. – Как это?

– Папа, прости, я забыл поговорить с ней вчера, – торопливо сказал Макс. – Мы не возражаем, папа...

– Как это? – тупо переспросила я.

– Мы поговорим в той комнате! – сказал мне Макс. – Это все понятно, мы все понимаем.

– Как это? А как же мама? – спросила я.

– Ты с ума сошла? – сказал Макс. – Мы поговорим в той комнате!

Он с грохотом отодвинул стул и, схватив меня за руку, поволок в нашу комнату.

– Ты что, с ума сошла? – холодно повторил он, насильно усадив меня на диван.

Я спала на очень старом диване. Если заглянуть за второй валик, к которому я спала ногами, можно увидеть наклейку, рваную и еле заметную: «Диван № 627».

Я спала на диване № 627 и иногда ночами думала, что где-то у кого-то в квартирах стоят такие же старые диваны: шестьсот двадцать восемь, шестьсот двадцать девять, шестьсот тридцать – младшие братья моего. И я думала, какие, должно быть, разные люди спят на этих диванах и о каких, должно быть, разных вещах они думают перед сном...

– Максим, а как же мама? – спросила я.

– Ты с ума сошла-а! – простонал он и сел рядом, зажав ладони между колен. – Маму не воскресишь. А у отца жизнь не кончена, он еще молод.

– Молод?! – с ужасом переспросила я. – Ему сорок пять лет.

– Ни-на! – раздельно сказал Максим. – Мы же взрослые люди!

– Это ты взрослый человек. А мне пятнадцать.

– Шестнадцатый... Мы не должны отравлять ему жизнь, он и так долго держался. Пять лет один, ради нас...

– И еще потому, что он любит маму...

– Нина! Маму не воскресишь!

– Что ты повторяешь, как осел, одно и то же!!! – заорала я.

Зря я так выразилась. Никогда не слышала, чтобы ослы повторяли одну и ту же фразу. И вообще это весьма привлекательные животные.

– Ну, поговорили... – устало сказал Максим. – Ты все поняла. Отец будет жить там, у нас негде, да и мы с тобой, в конце концов, взрослые люди. Это даже хорошо, что папина мастерская станет твоей комнатой. Тебе давно пора иметь свою комнату. Перестанешь прятать на ночь лифчики под подушку, будешь вешать их на спинку стула, как человек...

Откуда он знает про лифчик? Ну и дурак...

Мы вышли из комнаты. Отец сидел за столом и гасил сигарету в пустом блюдечке из-под колбасы.

Максим подтолкнул меня вперед и положил руку туда, где сзади у меня начиналась шея. Он ласково погладил меня по шее, как рысака, на которого ставят, и сказал вполголоса:

– Ну...

– Ты что делаешь? – крикнула я на отца дворничьим голосом. – Пепельницы тебе нет? – И быстро пошла к двери.

– Ты куда? – спросил Максим.

– Да пройдуся... – ответила я, надевая кепку.

И тут зазвонил телефон.

Максим поднял трубку и вдруг сказал мне, пожимая плечами:

– Тебя. Очень мужской голос.

– Это какая-то ошибка, – сказала я.

Вообще-то я не привыкла, чтобы мне звонили мужчины. Мужчины мне еще не звонили. Правда, где-то в седьмом классе надоедал один пионервожатый из нашего лагеря. Он

говорил неестественно высоким, смешным голосом. Когда он звонил по телефону и попадал на брата, тот кричал мне из коридора: «Иди, там тебя евнух спрашивает!»

Этот говорил красивым низким голосом.

– Вас зовут Нина, – сказал он.

– Спасибо, я в курсе, – машинально ответила я.

– У вас чудесный голос. Простите, я волнуюсь и говорю пошлости... Я видел вас в театре...

– Да. На премьере моего спектакля «Преступление и наказание», – сказала я. Кто-то из нашего класса меня разыгрывал, это было ясно.

– Н-нет... – нерешительно возразил он. – Вы сидели в амфитеатре. Мой товарищ, оказалось, совершенно случайно знал вас и дал номер телефона.

– Здесь какая-то ошибка, – сказала я скучным голосом. – Последние тридцать два года я не бываю в театре.

Он засмеялся – у него был очень приятный смех – и укоризненно сказал:

– Нина, это несерьезно. Понимаете, мне необходимо вас увидеть. Просто необходимо. Меня зовут Борис...

– Борис, я очень сожалею, но вас разыграли. Мне пятнадцать лет. Ну, шестнадцать...

Он опять засмеялся и сказал:

– Это не так плохо. Вы еще достаточно молоды.

– Хорошо, мы встретимся сейчас, – решительно сказала я. – Только, знаете что, давайте оставим эти опознавательные газеты в руках и традиционные цветки в петлицах. Вы угоняете машину марки «москвич» и едете в сторону пустыни Гоби. Я надеваю красный комбинезон и желтый картуз и иду в том же направлении. Там мы и встретимся... Одну минутку! Вы не дворник по профессии?

– Нина, вы – чудо! – сказал он.

Больше всего ему понравилось, что я действительно пришла в красном комбинезоне и желтом картузе. Этот картуз привез мне из Ленинграда Макс. Громадный кепон с длинным таким, комичным козырем.

– Ты похожа на подростка из американского боевика, – сказал Максим. – А вообще модно и здорово.

Правда, на меня с ужасом оборачивались старухи, но в принципе это можно было пережить.

Так вот, больше всего ему понравилось, что я действительно пришла в красном комбинезоне и желтом картузе. Но начинать надо не с этого. Начать надо с того момента, когда я увидела его на углу, возле овощного киоска, там, где мы в конце концов договорились встретиться.

Я сразу поняла, что это он, потому что в руке он держал три громадные белые астры и потому что, кроме него, возле этого вонючего киоска стоять было некому.

Он был потрясающе красив. Самый красивый парень из тех, кого я видела. Даже если он был в девять раз хуже, чем это мне показалось, все равно он был в двенадцать раз лучше самого красивого мужчины.

Я подошла совсем близко и уставилась на него, засунув руки в карманы. Карманы в комбинезоне пришиты высоко, поэтому локти торчат в стороны и я становлюсь похожа на человечка, собранного из металлоконструкций.

Он раза два взглянул на меня и отвернулся, потом вздрогнул, снова посмотрел в мою сторону и растерянно начал меня разглядывать.

Я молчала.

– Это... ты кто? – наконец испуганно спросил он.

– Я монах в синих штанах, в желтой рубашке, в сопливой фуражке. – Я вспомнила детскую считалочку, и, кажется, совсем некстати. Он ее успел забыть и поэтому смотрел на меня как на ненормальную.

– Но как же... Ведь Андрей говорил, что ты...

– Все ясно, – сказала я. – Андрей Волохов из пятой квартиры. Наш сосед. Он пошутил и дал номер моего телефона. Он шутник, разве вы не замечали? Одно время он посылал мне любовные письма, подписывался гиперболоидом инженера Гарина.

– Так... – медленно сказал он. – Оригинально. – Хотя мне показалось, что создавшаяся ситуация была похожа скорее на идиотскую, чем на оригинальную.

– Да, вот, во-первых, возьми... – Он протянул мне астры. – А во-вторых, это ужасно! Где же я теперь найду ее?

– Кого?

– Ну, ту, которую я видел в театре.

Он посмотрел на меня расстроенным взглядом, сочувствуя, наверное, и себе и мне.

– Слушай, а тебе в самом деле лет пятнадцать? – сказал он.

– Не лет пятнадцать, а пятнадцать лет. Даже шестнадцать, – поправила я его.

– Ничего, что я на «ты»?

– Ничего, – сказала я. – Со мной по-другому не получается. Я карманная.

– А?

– Маленького роста... – сказала я.

– Подрастешь еще...

Подбодрил. Ненавижу!

– Ни в коем случае! – оборвала я. – Женщина должна быть статуэткой, а не Эйфелевой башней.

Лгала бесстыдно. Благоговею в душе перед крупными женщинами. Но что поделаешь – при моих доспехах нужно уметь обороняться...

Он весело хмыкнул, потер переносицу и внимательно взглянул из-под бровей.

– Знаешь что, если такое дело, пойдем посидим в парке, что ли?.. Съедем по порции эскимо! Говорят, оно здорово помогает при расстройстве нервной системы. Эскимо любишь?

– Люблю. Все люблю! – сказала я.

– А есть на свете такое, что ты не любишь?

– Есть. Дворники, – сказала я.

Эскимо в парке не оказалось, и вообще там ни черта не оказалось, кроме пустых скамеек. А мороженое продавали только в кафе.

– Зайдем? – спросил он.

– Ну конечно! – удивилась я.

Было бы просто глупо, если бы я упустила такой случай. Не так уж часто приглашает меня в кафе потрясающе красивый мужчина. И еще я пожалела, что сейчас не вечер и не зима. В первом случае кафе было бы набито людьми и играла бы музыка, а во втором случае он наверняка помог бы мне снять пальто. Должно быть, это чертовски приятно, когда снимать пальто вам помогает такой красивый парень.

– Что же все-таки мне делать? – задумчиво проговорил он, когда мы уже сидели за столиком. – Где ее искать?

– По-моему, ее и искать не стоит, – небрежно сказала я.

Мы сидели на летней площадке под тентами. Скверик просвечивался отсюда насквозь, так что видны были фонарь у входа и афиша на фонаре.

– Вы увидели в театре девушку, которая вам понравилась. Девушка красивая. Ну и что? Вон их сколько на улице! Я тоже буду красивая, когда вырасту, подумаешь! Но если уж вам

так хочется найти именно ту, объявите экспедицию, снарядите корабль, наберите команду, а меня возьмите юнгой.

Он расхохотался.

– Ты просто прелесть, малыш! – сказал он. – Но прелестней всего то, что ты и в самом деле явилась в красном комбинезоне и желтом картузе. За свои двадцать три года... н у, двадцать два... я впервые столкнулся с таким экземпляром, как ты!

Я облизнула ложку и, прищулив один глаз, закрыла ею слепое осеннее солнце.

– Это что, мой возраст или как я выгляжу позволяет вам говорить таким снисходительным тоном? Почему вы уверены, что я не дам вам по носу? – с любопытством спросила я.

– Ну не сердись, – сказал он и улыбнулся. – С тобой забавно разговаривать. Выходи за меня замуж, а?

– Еще не хватало, чтобы мой муж был старше меня на семь лет. Чтобы он умер на семь лет раньше меня. Еще этого не хватало. – Тут он просто тюкнулся в розетку от смеха. – И вообще, самая приятная вещь – остаться старой девой и варить из айвы варенье. Тысячи банок варенья. Потом дожидаться, пока оно засахарится, и раздаривать его родственникам. – Я серьезно смотрела на него. Это уже наступил тот момент в разговоре, когда я начинаю острить без улыбки.

– А мама не возражает против этой установки? – подмигнув, спросил он.

– Мама в принципе не возражает, – сказала я. – Мама погибла пять лет назад в авиационной катастрофе.

У него изменилось лицо.

– Прости, – сказал он, – прости ради бога.

– Ничего, бывает... – спокойно ответила я. – Еще мороженого!

Мне не хотелось мороженого. Просто приятно было смотреть, как этот высокий, красивый парень послушно поднялся и направился к стойке. На секундочку могло показаться, что пошел он не потому, что хорошо воспитан, а потому, что это я, я потребовала еще порцию мороженого!

В сущности, мне было все равно, посидит он здесь еще минут пятнадцать или вежливо распрощается. Просто иногда бывает интересно притвориться перед самой собой. Всегда развлечение...

По дорожке мимо кафе проехал пацан на велосипеде. Он держался за руль одной рукой, как бы показывая этим, что – фи, чепуха, он, если захочет, сможет ехать, вообще не держась за руль.

Несмотря на будний день, в скверике царило безделье. Оно довлело над всем – шуршало газетами на скамейках, сквозило солнечными лучами в листьях деревьев. И даже снующие по своим делам люди в скверике казались бесцельно шатающимися.

Всем безраздельно владела праздность...

– Скорей бы уж снег, – сказала я, когда он вернулся, поставив передо мной розетку с белым подтаявшим комочком. – Вы на санках катаетесь?

– Ага, – сощурился он. – Преимущественно этим и занимаюсь.

Когда он это сказал, я вдруг поняла, что передо мной уже совсем взрослый и, вероятно, очень занятой человек. Я подумала, что хватит, нужно раскланяться и убраться восвояси, и неожиданно для себя сказала:

– А пойдете в кино!

Это была вершина моей наглости и хамства. Но он не дрогнул.

– А уроки когда делать?

– Я не готовлю уроков. Я способная.

Я отчаянно смотрела на него, и взгляд мой был нахален и чист...

Мы гуляли по городу до тех пор, пока не начало смеркаться. Я вела себя скверно, совсем сошла с ума. Я болтала без умолку, забегая перед ним, размахивая руками и заглядывая ему в глаза. Это был стыд, позор, ужас. Я походила на семилетнего Петьку, которого повел в зоопарк летчик-сосед дядя Вася.

Пошел дождь, и, не обращая внимания на этот драгоценный дар неба, по улицам сновали люди. Они вылезали из такси, громко хлопнув дверцей, изучали витрины магазинов или, проходя мимо, окидывали их взглядом, стояли на остановках трамваев, мимоходом договаривались о встречах. И у многих в руках были зонтики – милые и добрые механизмы. Самое невинное, что изобрели люди.

Затем опять показалось солнце, высветляя на тротуарах мокрые озябшие листья, и запах палых листьев, острый осенний запах будоражил душу и заполнял ее ни с чем не сравнимой тоской. Но не ноющей, а сладкой и веселой тоской, словно люди, бредущие в сумерках по осеннему городу, были не действительностью, а дорогим воспоминанием.

Нынешняя осень была особенно радостной и светлой. Ликующей. С каждым днем все яснее виделась гибель лета, и осень торжествовала победу над умирающим противником в упоительной желтизне и оранже...

Наш неосвещенный подъезд в сумерках напоминал одновременно беззубую разинутую пасть и пустую глазницу.

Я понимала, что это завершение неповторимого дня, и старалась придумать для него такое же прекрасное многоточие, но, подойдя к подъезду, обнаружила, что ничего не получается, и почему-то сказала:

– Вот таким образом. Ну, я пошла...

– Это отец поднял трубку?

– Брат. Хороший брат, качественный. Ленинский стипендиат. Не то что я. У меня по литературе тройка. Кажется, я опять начала... Ну, я пошла!

– А отец хороший?

– Еще лучше брата. Он художник-декоратор в театре. Хороший художник и отец хороший, вот только жениться вздумал.

– Ну и пускай...

– Не пушу!

– А ты злюка! – Он засмеялся.

– Ну, я пошла?

И тут случилась первая неожиданная вещь.

– А можно я буду звонить тебе, когда мне будет не слишком весело? – спросил он небрежно, прищурившись.

И тут случилась вторая неожиданная вещь.

– Нет, – сказала я. – Лучше я позвоню вам, когда мне будет не слишком грустно...

Сегодня вечером папа уходил. Мы в первый раз оставались вдвоем.

Он щеткой чистил в коридоре туфли, а мы торчали тут же: я сидела на табуретке, а Максим стоял, прислонившись к косяку, – и молча следили за его движениями.

Папа был веселым и бодрым, во всяком случае, казался таким. Он рассказал нам два анекдота, а я в это время думала, что вот он уходит, а вещи его пока остаются, но потом он их, конечно, будет постепенно уносить, как это у людей делается.

Не унесет только мамин портрет со стены, его любимый портрет, где мама нарисована фломастером, вполоборота, как бы оглянувшись, с длинной сигаретой в длинных пальцах. Этот портрет нарисовала мамина приятельница – журналистка тетя Роза. У нее была кошка, которая начинала плакать, услышав песню «Синий платочек». Да что это я – была! Есть. И кошка есть, и тетя Роза есть...

Сегодня папа уходил.

Он, конечно, будет часто приходить и звонить, но никогда больше не зайдет поздно вечером в нашу комнату, чтобы поправить одеяла на своих дылдах.

Сегодня папа уходил к женщине, которую он любит.

Он дочистил туфли, снял сетку с гвоздя и весело сказал:

– Ну, пока, пацаны! Завтра позвоню.

– Ну, давай! – в тон ему бодро сказал Максим и открыл дверь.

На лестничной площадке папа еще раз приветственно помахал рукой.

Когда захлопнулась дверь, я заорала. Признаться, я с нетерпением ждала этого момента, чтобы наревестись за милую душу. Я плакала взхлеб, сладко, горько, с подвываниями, как плачут маленькие дети. Максим с силой прижимал мое лицо к своей фланелевой рубашке, так, что трудно было дышать, без конца гладил меня по голове и тихо, торопливо повторял:

– Ну все, все... Ну хватит, хватит... – Он боялся, что отец еще не вышел из подъезда и может услышать мой концерт.

Я замолчала, и мы долго слонялись по комнатам, не зная, за что взяться. В животе у меня ныло.

Так мы дотянули до одиннадцати. Потом Максим постелил мне в отцовской мастерской, что означало вступление в права хозяйки комнаты, загнал меня в постель, погасил свет и вышел.

Надо было чем-то заняться. Я решила поразмышлять обо всем этом. Заложил руки за голову, закрыла глаза и приготовилась. Но сегодня у меня ни черта не получалось, все как-то разваливалось, как большое белое пузо той снежной бабы, которую мы с отцом возвели прошлой зимой у нашего подъезда. Я думала обо всем сразу и ни о чем. Не успевала я подумать об одном невыносимом происшествии, как на меня насакивали мысли о другом, таком же нестерпимом и немыслимом.

Я вообще-то не могу думать сразу о нескольких предметах. Я выбираю один, тот, что мне сейчас больше интересен, и начинаю его обдумывать. Причем, ни в коем случае не выхожу за рамки этого предмета.

Потом я мысленно говорю себе: «Ну, об этом – все. Валяй дальше», – и приступаю к другой теме.

Например, когда я думаю о папе, я могу думать о его мастерской, о театре, о декорациях к новому спектаклю, о рубашке, которую ему надо погладить к премьере.

О том, что после премьеры в служебном гардеробе он галантно поможет надеть пальто Наталье Сергеевне – ассистенту режиссера, и поведет ее к нам домой. Пить чай.

И они будут пить чай в той комнате, где висит мамин портрет. Там мама, как бы случайно оглянувшись, удивленно смотрит, держа на весу руку с только что закуренной сигаретой.

И при всем том мне в голову не придет начать думать о маме. Мама – это особая, громадная, тысячу раз обдуманная область мысли. В ней водятся журналистские симпозиумы, с которых мама летит в неразбивающихся самолетах и везет мне ручку с купальщицей (повернешь ее вниз – женщину заполняет синий купальник, вверх – купальник как рукой сняло)...

Я зажгла ночник и села на кровати. Приятно посидеть в обществе своей физиономии, повторенной во множестве вариантов и выполненной в разнообразных позах.

Ни один великий человек не может похвастать таким количеством своих портретов, как я. Папа говорит, что я – великолепная модель, так как продолжаю сидеть даже тогда, когда мне уже кажется, что я огрызок копченой колбасы и что рука, которая лежит на коленке, никогда больше не сможет коснуться никакой другой части тела.

Шесть моих портретов висели на стенах, остальные стояли внизу.

На зеркале висел забытый папин галстук, синий в белый горошек. Я надела его поверх ночной сорочки и подтянула повыше. Нет, все-таки я больше на маму похожа! И нос, да и подбородок тоже...

Я открыла дверь в нашу комнату. Максим сидел за столом и смотрел в одну точку. Он повернулся и странно поглядел на меня.

– Макс, – сказала я, теребя галстук, безвольно болтавшийся на моей куриной шее. – Конечно, это здорово, что у меня теперь есть комната. Но можно я еще чуть-чуть посплю на своем диване?

Я воевала с собой три дня. Я лупцевала себя по физиономии, бросала на землю и топтала ногами. Мне кажется, я смогла бы написать роман о том, как прожить эти три дня, вернее сказать, о том, как выжить сквозь эти три дня. И первая часть романа называлась бы «День Первый».

Потом я набрала номер его телефона и с ужасом слушала, как на меня накатываются протяжные гудки, как волны, накрывая меня с головой.

«Если сердце мое разобьется, что станешь делать с нелепыми осколками?» – скажу я ему сейчас.

Но голос в трубке так умеренно и безразлично произнес «Да?», что я вдруг окоченела и робко сказала:

– Ну вот и здравствуйте...

– Слушай, ну нельзя же месяцами пропадать! – насмешливо и обрадованно крикнул он. – В экспедиции ты уходишь, что ли?

Мы не виделись три дня. Мне сейчас показалось, что все существующие в мире ласковые и отрадные слова превратились в оранжевые апельсины, и я купаюсь в них, подбрасываю и ловлю, и я жонглирую ими с необыкновенной ловкостью.

– Ну, ты намерена произнести сегодня что-нибудь путное, ужасное дитя? – спросил он. – Или ты совершенно деградировала за три дня?

– О, это прелестно, что вы дни считаете, – спокойно сказала я, чувствуя, как почему-то дрожит большой палец правой ноги. – Вы, наверное, просто по уши влюблены в меня.

Он засмеялся, как смеются, когда услышат хорошую остроту, – с удовольствием.

– Наглый подросток, – сказал он. – Ну как твои дела по литературе?

– Скверно. Мне уж третью неделю надо писать сочинение о Катерине в «Грозе», а я как только подумаю об этом, так у меня просто руки отваливаются. Что делать?

– Подожди, пока они отвалятся совсем, и сошлись на то, что тебе нечем было писать.

Мы одновременно прыснули в трубку. Кто-то позвонил в квартиру.

– Одну минутку, – сказала я. – Нам молоко принесли.

Это была Наталья Сергеевна. Она улыбалась, и ее полное, с нежной розовой кожей лицо, статная фигура в темно-синем пальто с меховым воротником, пухлые руки в синих перчатках – все в ней дышало оживлением и пикантностью.

– Нинуль! – весело и задорно, как всегда – это был ее стиль, – проговорила она, протягивая мне полную сетку с апельсинами. – В театре давали, папа взял.

– Ваш папа? – коротко спросила я.

– Ваш! – засмеялась она. Сделала вид, что не обратила внимания. – Он взял для вас шесть килограммов, а занести попросил меня: его срочно вызвали.

Я весело и задорно выпалила:

– Да что вы, Натальясеровна, да у нас полным их полно! Весь балкон завален! Деваться от них некуда! В кухне под руками валяются!

Она удивленно подняла тонкие, как стрелки, брови, переложила сетку из правой руки в левую и немного отступила назад.

– Зря вы только такую тяжесть таскали! – веселилась я. – У нас они по всему коридору катаются. Вон один в тапке светит! Максим вчера гвоздь в туалетной апельсинам забивал!

Она стала спускаться по лестнице и все время неловко улыбалась и повторяла: «Ну ладно, ну что ж...»

Я захлопнула дверь и воровато оглянулась. Максим стоял в дверях нашей комнаты и смотрел на меня. Я подумала, что сейчас он прибьет меня, как сидорову козу, и еще подумала, что здорово, наверно, попало этой козе, если она вошла в поговорку.

– Да купим мы эти проклятые апельсины! – жалобно и трусливо крикнула я.

Он молчал. Я подумала: скверно, совсем шкуру спустит.

– Ну что ты маешься, бендюжка! – тихо сказал он, вышел и прикрыл за собой дверь.

«Бендюжка»... Что-то маленькое, убогонькое, хроменькое. Это он от волнения слоги перепутал.

Я на цыпочках подошла к телефону и тихонько опустила трубку на рычаг...

«Вы заставляете упрашивать себя, маэстро! Ну начинайте же, это некрасиво! Вы заставляете всех ждать!»

Снег не начинался... Я сидела на старом диване № 627 и упрашивала снег начать представление. Чтобы с неба грянули миллионы слепых белых акробатов.

Я сидела, обхватив колени длинными руками. Такими длинными, как змеящиеся рельсы железной дороги, гибкие и сплетающиеся. Если б я захотела, я бы охватила ими огромное расстояние. Весь наш город с домами и ночными улицами. Я бы поместила его между животом и приподнятыми коленями. Тогда тень от подбородка была бы тучей, закрывающей полгорода. И эта туча разразилась бы великим полчищем слепых кувыркающихся акробатов. И наступит великая тишина. Ядохну теплым ветром, и в каждом доме окна заплачут длинными кривыми дорожками.

В одном из домов живет мой папа. Он говорит, что воображаемое увеличение или уменьшение предметов у меня с детства, от папиных эскизов и моделей декораций. Он часто подолгу делал их – крошечную комнату или уголок сада, а я мысленно населяла их людьми. Я приближала глаза к игрушечной сцене и шепотом разговаривала с этими людьми. В детстве я с ними разговаривала...

Вся беда в том, что не начинался снег. А он должен был дать сегодня одно из самых грандиозных своих представлений.

«Это стыдно, маэстро, так ломаться! Ну прошу же вас, прошу!»

– Что ты там бормочешь? – спросил Максим и сел на кровати.

– Я хочу снега, – ответила я, не поворачивая головы.

– А я хочу курить. Поддай-ка мне спички с подоконника.

Я бросила ему спичечный коробок, он закурил.

– Что за тип звонит тебе в последнее время? – подняв бровь, строго спросил он.

– У тебя сейчас идиотская поза какого-нибудь американского босса, – сказала я. – Это не тип. Это, предположим, инженер. Он проектирует землеройки, или сенокосилки, или сноповязалки. Он объяснял, я не запомнила что.

– Какие землеройки?! – вдруг закричал Макс так, что я вздрогнула. Редко он так сразу распаляется. – Что ты за человек! Тебя же из дому нельзя выпустить, ты же, как свинья лужу, ищешь для себя идиотские приключения!

– Макс, пожалуйста, не так интенсивно... – У меня с утра болели спина и мой проклятый правый бок, а тут все еще больше разболелось.

– Ты отдаешь себе отчет в том, что надо таким вот «инженерам» от таких дурочек, как ты? – сухо спросил он.

– Представляешь, каким нужно быть уродом и кретином, чтобы что-то хотеть от меня? – подхватила я.

Тогда он стал пугать меня всякими невероятными историями, которых в жизни, как правило, не бывает. Он долго говорил, так долго, что мне показалось, будто я успела раза три заснуть и опять проснуться. А бок болел все сильнее и сильнее, и я старалась, чтобы Макс не заметил, как я цепляюсь за него.

Но он заметил.

– Опять?! – крикнул он, и в глазах его застыл ужас. У них всегда такие глаза, когда у меня приступы. Он ринулся в коридор и стал набирать номер отцовского телефона. В коридор, в трусах. Там же холодно...

Пока он паниковал и кричал в телефон, я тихонько лежала на диване, скорчившись, и молча смотрела в окно.

«Эх ты... – мысленно упрекала я снег. – Так и не начался...»

Я знала, что это последние спокойные, хоть и болевые минуты. Сейчас приедет на такси отец, приедет «скорая» и все завертится, как в немом кино...

Нам повезло. Дежурил мой дорогой доктор с чудесным именем – Макар Илларионович. Девять лет назад он удалил мне почку, и меня чертовски интересовало, что он будет делать на этот раз. Макар Илларионович был ранен во время войны, ранен в шею, поэтому, когда он хотел повернуть свою совершенно лысую голову, приходилось разворачиваться плечом и грудью. Он был замечательным хирургом.

– Так, – хмуро сказал он, осматривая меня. – И чего ты здесь околачиваешься? Ты мне совершенно не нужна!

Он что-то буркнул медсестре, та подошла ко мне со шприцем.

«Теперь все в порядке», – подумала я, цепenea от боли.

Отец вел себя скверно. Он выудил из какого-то потайного кармана расческу и выделывал с ней что-то невероятное. Казалось, сам он был обособленным существом, а суесящиеся, издерганные руки вытворяли черт знает что по собственной инициативе. Все время он топтался около Макара Илларионовича, потом, не стесняясь меня, сказал умоляющим голосом:

– Доктор, эта девочка должна жить!

Макар Илларионович быстро развернулся к отцу плечом, должно быть, собираясь ответить что-то резкое, но посмотрел на него и промолчал. Может быть, он вспомнил, что девять лет назад здесь стояли оба моих родителя и умоляли его о том же.

– Ступайте домой, – мягко сказал он. – Все будет так, как надо.

В город вернулись теплые дни.

Они возвратились с удвоенной лаской, как возвращаются неверные жены. Целый день по небу шлялись легкомысленные, беспокойные облачка, а сухие, по-осеннему поджарые листья густо лежали на земле молча, без шороха. Несколько дней город, казалось, находился

в теплом и каком-то блаженном обмороке, он предавался осени, этой изменчивой лгунье, и не верил, не хотел верить в скорое наступление холодов...

Целыми днями я просиживала на скамеечке в дальнем углу больничного парка, наблюдая за игрой геометрических теней от голых, сухих веток деревьев. Тени скользили по выцветшему рисунку больничного халата, по рукам, по асфальту.

По двору гонялись две влюбленные псины...

Парк проглядывался насквозь, и отсюда видны были проходная, четырехэтажные корпуса больницы, решетчатая ограда. За оградой, сразу через дорогу, было фотоателье с внушительной витриной. На фотографиях, выставленных в ней, люди все сидели с вывороченными головами, как индюки со свернутыми шеями. Они все, с интересом и надеждой подавшись вперед, как бы слушали невидимого оратора, окончание речи которого нельзя пропустить и которому нужно будет обязательно похлопать.

За оградой существовал мир здоровых людей. Для меня это было враждебное государство. Мне внушали недоумение их здоровье и веселость.

Иногда посидеть на скамеечке притаскивалась старенькая Вера Павловна – доктор наук, специалист по женским болезням, она была моей единственной соседкой по палате. Я замечала ее издали, она с чрезвычайной осторожностью передвигалась, придерживаясь за стены здания, за ограду, за деревья. Наконец, усаживалась рядом со мной и долго переводила дух.

– В молодости человек не замечает, как годы летят, – начинает она. – И двадцать лет – молодая, и сорок лет – молодая. А я вот вспоминаю себя... Двадцать лет назад – ведь человеком еще была...

Мы долго сидим молча, вместе наблюдая за скользящими тенями на асфальте, потом она задумчиво рассказывает:

– Собралась я недавно дорогу перейти. Стою и никак не решусь; ходок я теперь неважный, а с прогрессом у нас шутки плохи. Стою и смотрю, как молодые спешат, снуют по своим делам. Вдруг подходит ко мне женщина, берет под руку и говорит: «Здравствуйте, доктор! Вы меня, конечно, не помните, а вот я никогда вас не забуду. Я сейчас наблюдаю за вами и думаю: когда-то вы за двадцать минут сделали сложнейшую операцию, а сейчас вот уже четверть часа не можете дорогу перейти...»

Она закрывает глаза и смеется.

– А я разве упомяну ее? Я этих операций сотни переделала...

У Веры Павловны выпуклые глаза, и когда она закрывает веки, глаза становятся похожими на сомкнутые створки раковины. Такие плоские, перламутровые внутри раковины, в которых прячутся нежные, студнеобразные моллюски.

– Вот вам, наверное, родители кажутся престарелыми, а ведь по сравнению со мною, например, – совсем сопляки...

– У меня мама молодая, – говорю я. – У меня мама, Вера Павловна, знаете, изумительная женщина была. У нее вся жизнь была необыкновенной, изумительной. И профессия. Вы, наверное, помните, встречали, не могли не читать в газетах фельетоны Этери Контуа. Она и грузинкой была необыкновенной – рыжеволосая, синеглазая. Я ведь, кстати, не Нина, а Нино. Как вам это понравится? Нино... Она встретила отца, когда ей исполнилось шестнадцать. В этот день. И в этот же день они сняли какую-то халупу на окраине города. Знаете, Вера Павловна, мне, между прочим, тоже совсем скоро будет шестнадцать, и я все-таки посамостоятельней, чем была она, избалованная дочка, ни разу чайник не вскипятившая. И вот я часто думаю, смогла бы вот так, сразу, понять, что это судьба, и пойти за человеком без оглядки? Я думаю – нет. Деда чуть кондрашка нехватила, когда он услышал. Сами понимаете – единственная, «бусинка, росинка, детка ненаглядная», и вдруг как снег на голову какой-то голоштаный третьекурсник художественного училища. Скандалище! В халупе посере-

дине – мольберт с неоконченным ее портретом, у стены – раскладушка и две табуретки. Все. Эти сплетницы, соседки-кумушки, пальцами на нее показывали. А она ходила с большим животом и плевала на всех. И когда Максиму было семнадцать, ей было тридцать три, и она всегда неправдоподобно молодо выглядела, поэтому, когда они с Максимкой шли по улице, все думали, что она – его девушка.

А потом – этот самолет.

Я ненавижу самолеты, Вера Павловна, я никогда не сяду в самолет. И что самое удивительное – папа говорит, что он на наших глазах... А я не помню. И ведь я была тогда большой девочкой – десять лет. Помню на себе белые гольфы с бомбошками, помню, что Максим в тот день первый раз побрился и был ужасно горд этим, что папа не достал маминых любимых гвоздик и ходил поэтому расстроенным... Затем помню долгое, нехорошее ожидание в аэропорту. И вот... Наверное, он как-то неэффектно взорвался в воздухе, если я не помню. Ведь это ужасно, неправдоподобно, правда? Все кричали, и отец как-то смешно перепрыгнул через ограду и бежал по летному полю... И вот, гольфы с бомбошками помню, а это – нет... Ужасно.

Я замолкаю и смотрю на влюбленных собак, лениво развалившихся на солнышке. Та, которую я считаю дамой, положила морду на рыжую лоснящуюся спину своего поклонника. Полузакрытые глаза, влажный подергивающийся нос ее выражают покой, уверенность и легкое презрение к окружающим – в общем, чувства, присущие всякой счастливой женщине.

– Ох, боже мой, боже мой... – бормочет Вера Павловна, и мне приятно, что доктор наук так по-старушечьи вздыхает и жалеет меня.

Еще я занималась тем, что третий день наблюдала за девушкой, сидевшей у окна на втором этаже. Она читала. У нее были бледное, веснушчатое лицо и изумительные, редкого медного оттенка волосы. Они выплескивались из открытого окна, а ветер ласкал и промывал ее волосы в теплом дыхании зрелой осени...

Почему-то мне казалось, что девушка очень больна, должно быть, она и в самом деле была серьезно больна: я никогда не видела ее во дворе. А ослепительные волосы, вырывающиеся из окна, как флаг, почему-то вызывали у меня одно воспоминание прошлого года.

Максим тогда встречался с какой-то фифой из консерватории и по этому случаю на целых два месяца проникся к классической музыке трогательной любовью. Однажды он достал билеты в филармонию на симфонию Онеггера. Но с фифой в этот день произошла загвоздка, а может быть, началась пора умирания большой любви – не знаю, не помню, но, чтобы билеты не пропали, Макс потащил с собой меня.

Симфония, как мне показалось, называлась забавно: «Симфония трех “ре”» и, наверное, поэтому представлялась мне веселой и увлекательной штукой, чем-то вроде «Сказок братьев Grimm».

Позже, когда я сидела в обитом красным бархатом кресле и очухивалась, было поздно. Взлетали вверх обнаженные руки скрипачек с длинными смычками, и казалось, это металлические ослепительные языки пламени из черных факелов платьев.

Я сидела и думала, что добром это кончиться не может, должно произойти что-то ужасное, трагическое, что вот прервется музыка и дирижер, похожий на грачонка в черном фраке, повернет к публике скорбное длинноносое лицо и скажет: «Друзья! Только что скончался дорогой всем нам...» – и назовет известное и близкое имя какого-то знаменитого человека. Так казалось.

Но вопреки моим опасениям все прошло благополучно, оркестранты молча выслушали аплодисменты и покинули сцену, а мы долго простояли в гардеробе в очереди за пальто...

И вот эту историю я вспомнила, глядя на бледную, веснушчатую девушку в окне второго этажа, и мне очень хотелось, чтобы вскоре за ней пришла полная рыжая женщина, или худая рыжая женщина, – ее мать (только обязательно рыжая, такой она мне представлялась) – и чтобы девушка прошла с ней по двору не в больничном халате, а в каком-нибудь зеленом платье или красном брючном костюме. Чтобы она задержалась в проходной и сказала сторожу: «До свидания, дядя Миша», – а он бы ей ответил: «Будь здорова, не более больше».

И чтобы она никогда сюда не возвращалась...

По утрам приходил Максим, а вечерами, после работы, отец.

– Дневную вахту надо было поручить Наталье Сергеевне, – как-то сказала я Максиму.

– Ты стала невыносимой, – отозвался он. – Ты просто человек, с которым трудно говорить. И с каждым днем твой характер становится все тяжелее и тяжелее. Что дальше будет, ума не приложу!

– Ничего дальше не будет, – холодно успокоила я его. – Это все скоро кончится, неужели ты не понимаешь?

– Паршивка, Нинка! – крикнул он, как в детстве. – Что ты с нами делаешь! Посмотри, во что отец превратился, он тенью ходит. Наталью Сергеевну не узнать, так осунулась.

– Для этого ей, должно быть, пришлось сесть на диету.

– Послушай... – Он нахмурился и замолчал, сбивая пепел с сигареты. Он устал спорить со мной.

– Ты же сам ее не любишь, Максимка!

– С чего ты это взяла? – угрюмо спросил он.

– Ну я тебе, слава богу, сестра или нет? Ты ее недолюбливаешь за то, что она заняла мамино место.

– Никогда ни один человек не сможет занять место другого. И тем более это касается женщин. Когда погибает любимая женщина, вместе с ней гибнет целый мир, даже не мир – целая эпоха в жизни человека; молодость, прожитая с ней, намерения, мысли, что были с нею связаны, все гибнет вместе с ее жестами, голосом, мимикой, походкой. Каково же человеку, когда то, что могло быть в старости приятным воспоминанием, превращается в кошмар, в сплошную ноющую рану? Разве может другая женщина, пусть даже по-своему привычная и близкая, закрыть собой эту рану? По-моему, нет...

– А ты теперь у них обедаешь, да, Макс? Невкусно она готовит?

– Нормально готовит, – пробурчал он. – И еще вот что: разве она виновата в том, что мамы нет, что отец был один, да и у нее жизнь не устроена? Неужели все это так трудно понять и неужели за это надо ненавидеть человека?

– Я не ненавижу ее, – возразила я. – Если бы я ее ненавидела, я бы ее убила, я бы разбила все окна в ее доме, я бы изорвала в клочья ее синее пальто. Я все понимаю. Но любить-то я не обязана, правда?

Максим смотрел на меня каким-то взрослым взглядом. Карман его пиджака оттопыривался от пачки сигарет, под глазами лежали круги... Наверное, он сдавал очередной курсовой проект...

– Правда... – сказал он и продолжал смотреть на меня задумчивым взрослым взглядом, как бы решая, говорить со мной как с человеком или махнуть на меня рукой.

– Это, наверное, потому, что ты еще ребенок, – наконец сказал он. – Ну конечно, это потому, что ты не можешь понять, что это такое для мужчины – одинокие ночи. А это страшная штука – пять лет одиноких ночей...

– А мы? – спросила я, все еще не веря, что Макс так серьезно говорит со мной.

– Мы – дети. А нужен близкий человек, женщина, с которой можно пошептаться на подушке, голова к голове, и понервничать, что на работе неприятности, и встать к окну в

трусах – покурить. А он дождется, пока мы уснем, и уходит в свою мастерскую, а там пусто, только семейный альбом с фотографиями, который он просматривал каждый вечер. Ты знаешь, что он каждый вечер просматривал наш альбом?

– Нет... – сказала я тихо.

Макс достал из пачки сигарету и закурил. За двадцать минут это была третья.

– Ты ужасно много куришь, – машинально заметила я, как обычно.

– Да, – сказал он. – Надо завязывать, а то скоро все потроха закопятся.

Это был наш обычный диалог «о вреде курения».

– В самом деле, скверная привычка, – подумав, сказал Макс. – Ты, наверное, оттого такая больная, что мама много курила. Одну сигарету за другой. Я помню, даже – тебя ждала, а все равно курила... Маме было совсем нелегко... – медленно проговорил он, почему-то с трудом выговаривая каждое слово. – Ведь она, знаешь, Нинок, в последние годы разлюбила отца. Так получилось.

– Как это?! – шепотом переспросила я и, сразу испугавшись, что Макс разозлится на меня за тупость, схватила его за рукав пиджака и запричитала:

– Ой, Макся, ну, продолжай, пожалуйста, я все пойму, честное слово!

– Она любила другого человека.

– Нет. Не может этого быть, – сказала я. – Почему же она не ушла?

Он горько усмехнулся.

– А то ты не понимаешь... Эти грузинские гордецы... Только чтобы никто не подумал, что в семье неладно. И потом, дети... И, наверное, чувство вины перед отцом, хотя и не была виновата перед ним. И эта ее категоричность, помнишь: «Главное – называть белое белым, а черное – черным». Она бы назвала себя предателем, если бы ушла.

– Отец не знал, – задумчиво сказала я. – Отец, конечно, не знал. Он бы умер от горя.

– Знаешь, я сейчас много думаю об этом, и мне кажется, что она нарочно тебя придумала, чтобы вышибить из себя любовь. И вообще, если бы не самолет, я бы подумал, что мама сама так решила.

– Откуда ты все узнал?

– Я и раньше догадывался, еще когда она была жива. А потом нашел в ее записной книжке два письма...

Я не спросила, что было в этих письмах, и Максим не стал рассказывать. Слишком трепетно мы относились к маме, чтобы обсуждать ее любовь. Но сейчас, вдруг, я представила, как неизвестный нам мужчина узнает о маминой смерти. Этот момент. Какие у него были руки в этот момент? Что он делал? Отцу было легче. Он бежал по летному полю и кричал.

А что делал этот человек для того, чтобы скрыть от людей свою боль?

– Проводи меня до проходной, – вставая, сказал Макс.

– Подожди, Максимка, сядь. Что-то у меня все занемело внутри.

Он с силой провел по лицу ладонью, как будто хотел отшвырнуть в сторону свое уставшее лицо и вместе с ним мысли.

– Скверно, что я все рассказал тебе, – проговорил он. – Но я должен был это сделать. Каждую ночь я думал: «Завтра расскажу. Завтра обязательно расскажу». Я это сделал – для чего? Понимаешь, у тебя возраст сейчас... обвиняющий. Я это по себе знаю, у меня самого так было. Да только после маминой смерти как рукой сняло. Так вот, зачем я все это рассказал? Чтобы ты милосердней была. Не только к отцу – вообще к людям. Потому что без этого, я думаю, настоящей жизни не получится. Чтобы сердце у тебя поумнело... А теперь проводи меня.

– Ты что-то плохо выглядишь, Макся. Ты курсовой проект пишешь?

– С вами попроектируешь... – хмуро буркнул он.

Сегодня я просидела на скамейке дольше обычного, потом медленно поднялась на третий этаж, к себе.

Проходя мимо седьмой палаты, я заглянула туда и сказала маленькой худой женщине, у которой не только руки, но даже лицо казалось натруженным:

– Петрова, к вам сын пришел.

– Ой, спасибо, дочка! – Она стала суетиться, выкладывая какие-то пакеты из тумбочки. – Ты меня так обрадовала, доча!

Я подумала: почему эта женщина называет дочерью еле знакомую девушку? Может быть, потому, что у нее четверо сыновей и она всю свою жизнь мечтала иметь дочь? А может быть, она просто очень добрая женщина?

В палате я отобрала из сетки несколько мягких яблок и положила на тумбочку Веры Павловны, хотя для ее оставшихся зубов и эта пища была немислимой.

Сухо щелкнул выключатель, и законное пространство из-за отразившихся в окне двух наших коек и тумбочек мгновенно стало больничным и беспокойным. А днем оно было таким по-осеннему прозрачным, ласковым...

Я молча лежала с закрытыми глазами и представляла, как папа листает наш альбом с фотографиями. Я мысленно переворачивала страницы вместе с ним.

Вот Сочи. Меня еще нет на свете. Мама стоит на берегу, на ней очень открытый купальник. На плечах у нее сидит маленький Максимка, голенький, его толстые, по-детски еще кривые ножки свешиваются маме на грудь. Максимке – два года, маме – девятнадцать. Они смеются.

Как это сказал Макс? «Она нарочно тебя придумала, чтобы вышибить из себя эту любовь». Ну да, понимаю: думала – родится ребенок, хлопоты, переживания, о том и подумать будет некогда. Мосты сжигала...

Значит, все это – море, чайки, маленький Максимка, любовь к отцу – было до меня? А я для мамы – горький ребенок!

Нет, нет, все не так... Вот другая фотография. Снимал Максим, и вышло плохо, размыто. Меня собирают в детский сад. Я ору благим матом, запрокинув голову так, что лица не видно. Мама натягивает мне правый ботинок, папа – левый. Они смеются, и руки их соприкасаются.

Да, да, руки их соприкасаются... Максим просто напутал! Не могло такого быть, и письма эти – ерунда.

Я не заметила, как в палату пришла Вера Павловна.

Она долго сидела на койке, неподвижно смотря в темное пространство за окном, заполненное больницей, потом медленно и отчетливо сказала, не глядя на меня:

– Как смерть никого не щадит!

У меня под горлом что-то сорвалось и, обливая все внутри холодом, медленно поползло вниз. У меня всегда так бывает, когда я чувствую, что сейчас сообщат о чьей-то смерти.

– Кто? – коротко спросила я.

– Лена умерла, – сказала Вера Павловна, строго и горько взглянув на меня.

– Какая Лена?! – закричала я, беспомощно встряхнув пустыми кистями рук и пряча их между коленями.

Но я уже знала какая.

– Бледная, рыженькая девушка из третьего корпуса. Помнишь, у окна все сидела и читала. С длинными волосами...

В комнате было тихо, так тихо, что различались шаги в дальнем конце коридора.

– Ну, не надо плакать... – сказала она. – Мне тоже тяжело. Сколько раз сталкивалась, а все не привыкнуть... У нее сердце не выдержало, так на операционном столе и скончалась.

– А у меня крепкое сердце, правда, Вера Павловна?

– Не думай об этом, не надо тебе об этом думать. И перестань плакать, сколько можно!

– У меня папа недавно женился на хорошей женщине, Вера Павловна, знаете... А я не желаю с ней разговаривать, извожу отца, брата, всем треплю нервы и веду себя, как последнее хамье. Это ужасно, да?

– Да уж что хорошего... – вздохнула она. Потом разобрала постель и вдруг, обернувшись ко мне, по-детски спросила: – Свет не будем гасить, да? Страшно...

У меня даже ноги ослабели, когда я увидела его. Он возник из мира здоровых людей и был его воплощением. Он стоял с авоськой за решетчатой оградой, и железный прут вертикально пересекал его лицо. Не улыбаясь, он молча смотрел, как я подходила к нему – к нему, такому красивому! – в этом диком больничном халате.

– Вот и свиделись... – сказал он тоном человека, просидевшего на рудниках тридцать лет и случайно заставшего в живых друга детства.

– Я тебя вижу второй раз в жизни, – сказала я. – Это же можно с ума сойти. Ты у Максима узнал, где я? Он тебя здорово бил?

– Здорово, – сказал он и засмеялся. – Ну, улыбнись, я хочу поцеловать тебя в улыбку.

– Забор мешает, – заметила я, – Пойдем, я тебе покажу лаз. Как ты умудрился в тихий час прийти?

– У меня часы отчаянно спешат, – оправдывался он. – Если б я их время от времени не ставил на место, я думаю, они давно отсчитали бы двадцатый век и принялись за двадцать первый.

Мы шли по обе стороны забора, и я мучительно, всем телом чувствовала на себе ужасный халат. В нем у меня не было ни груди, ни талии, а все только подразумевалось.

Я шла и, не оглядывая себя, чувствовала, что у ворота из-под халата кокетливо выглядывают обтрепанные завязочки рубашки. Но мучительней всего чувствовалось задыхающееся, заикающееся сердце.

– Я тебя вижу второй раз в жизни, – поразившись, сказала я, забыв, что эта мысль уже удивляла меня.

– А с братцем вы великолепная пара сапог, – сказал он. – Сначала говорил, что ты на занятиях, а сегодня утром накричал на меня, что человек уже три недели валяется в больнице и никому до этого нет дела...

Моя скамеечка была занята юным тоненьким папой. Он сидел, вытянув далеко вперед джинсовые ноги, похожие на складную металлическую линейку, и, задумчиво пощипывая усики, казалось, безучастно смотрел на резвящегося растрепанного мальчугана. Мальчишка был просто прелесть, не больше двух лет, очень забавный. Увидев нас, он подбежал и, остановившись совсем близко, принялся разглядывать незнакомцев испуганно-веселыми глазами. Борис достал из сетки апельсин и протянул мальчугану.

– Нет, нет, спасибо! – встревожено воскликнул папа, поднимаясь со скамейки. – Цитрусовые нам нельзя, диатез.

И вдруг стало понятно, что это очень хороший папа. Из тех, которые каторжники.

– Как зовут вашего сыночка? – спросила я, чтобы доставить ему удовольствие.

– Георгий, – горделиво ответил он, и это звучало как «Гьёрги». – Гогия, – пояснил он, и это у него получалось как «Гогья».

Они пошли к забору, туда, где был лаз, и я глядела им вслед и улыбалась.

– Гулять сюда приходят, – сказал Борис. – Такой замечательный парк!

– Они грузины, – продолжая радостно улыбаться, сказала я. – Ты понял? Они грузины. Мне так приятно!

– Если б я знал, что это тебе так приятно, я бы сегодня в справочном узнал, сколько грузин проживает в нашем городе. – Он недоуменно взглянул на меня.

– Ты ничего не понимаешь! – сказала я. – Ничего. Ты зачем сюда пришел – провести меня? Ну тогда давай поговорим.

– Давай поговорим! – согласился он.

И мы замолчали.

Я не могла до конца осмыслить то, что он пришел сюда и сидит со мной на скамейке. Мне мерещилось, что это Максим умолил его приехать. Чуть ли не в ногах валялся. Хотя я прекрасно понимала, что никогда в жизни ничего подобного Максим не сделает. Или, может быть, он так подумал: «Бедная, смертельно больная девочка... Подъеду, подарю тридцать минут счастья...»

Нет, это тоже исключено. Ведь он не знает, что я влюблена в него вусмерть.

Так вы влюблены, мадемуазель?! Похоже, что я наконец призналась себе в этом. Да не все ли равно! Жить, может быть, осталось шиш на постном масле. Хоть перед собой не юродствуй...

– Я понимаю, что ты в затруднительном положении. С одной стороны, неловко напоминать человеку о его болезни. И вообще это ужасная штука – посещение тяжелобольных. Ты его жалеешь и делаешь участливое лицо, а сам думаешь о том, как бы не проспять завтра на рыбалку. А больной не делает никакого лица, на нем вообще нет лица, он ненавидит тебя и думает: «Ну, давай спрашивай меня о здоровье, бодрячок! С-скотина...» А иногда ненависть переносится на совершенно неожиданные предметы. Видишь витрину того фотоателье за оградой? Я ее ненавижу. Там поголовно сняты все идиоты. Потому что не может умный человек послушно принимать позы, придуманные бездарным фотографом!

– Это нехороший юмор, – сказал он, серьезно смотря на меня. – Тяжелый.

– Это вообще не юмор, – возразила я. – Чувство юмора за последнее время у меня полнотью атрофировалось. Отбито, как печенька в ужасной пьяной драке. А то, о чем я говорила, – это правда жизни. Точно так же об этом написал бы Чехов. Ты любишь Чехова?

– Очень, – веско сказал он.

– Слава богу! Я презираю тех, кто к нему равнодушен. Просто за людей их не считаю, каких бы успехов в личной и общественной жизни они ни достигли. Я всю жизнь читаю письма Чехова, у нас дома есть его собрание сочинений в двенадцати томах. Многие его письма я знаю наизусть. Особенно к Лике Мизиновой. Он ей пишет: «Хамски почтительно целую Вашу коробочку с пудрой и завидую Вашим старым сапогам, которые каждый день видят Вас...» И еще так: «Кукуруза души моей!» Обязательно нужно читать примечания к его письмам. Там объясняется, кто такие были Линтварёвы, кто такая Астрономка. Только никогда я не заглядываю в примечание к письму восьмьсот восемнадцатому. Там всего одна сноска. Знаешь какая?

– Какая? – тихо спросил он.

– Всего одна: «Последнее письмо А. П. Чехова».

Мы помолчали.

– Я сегодня ужасно много болтаю, как в прошлый раз. А ты очень молчалив, потому что не знаешь, о чем можно со мной говорить, а о чем нельзя. Я это вижу и выручаю тебя – говорю, говорю. Но сейчас я замолчу, и тебе станет страшно, и придется что-то сказать. Поэтому я предупреждаю: можно говорить обо всем. И хоть я панически боюсь смерти, даже о смерти.

И тут он не выдержал.

– Почему?! – закричал он. – Ну почему я должен говорить о смерти! И вообще, что это за безобразие! Я еду на свидание к юной девушке, перед этим готовлюсь, наглаживаюсь, бреюсь, черт возьми, так, что в меня глядеться можно, стою час в очереди за апельсинами!

И вот вместо девочки меня встречает нудная старая баба и уже полчаса ведет зауспокойные беседы. В боку у нее закололо – подумаешь! Вот у меня уже третью неделю насморк не проходит!

Он выхватил из кармана наглаженный платок и стал отчаянно громко в него сморкаться. Но у него ничего не получалось, потому что он был абсолютно, восхитительно здоров...

– А ведь на носу зима, – сказала я. – Сезон носовых платков. Что ты будешь делать зимой со своим насморком?

– А вот что: мы кошмарно напьемся, третьим возьмем твоего ненормального братца, будем шататься в обнимку по улицам и орать песни страшными голосами...

– И пусть идет снег.

– Пусть, – согласился он.

– Из рта у нас будет валить пар, и все вместе мы будем похожи на огнедышащего дракона. О трех головах.

– Воображение – класс! – сказал он.

– Тебе сегодня скучно со мной?

– А разве ты всегда должна развлекать меня? Ты ведь не гетера и не гейша. Ты просто не сможешь быть всегда ярким дивертисментом.

– Понимаешь, – сказала я, – все, оказывается, ужасно сложно. Ты только не кричи на меня: я сейчас все объясню. Я очень много думаю все эти дни, так много, что мне будет даже досадно умереть, не записав эти мысли. Если я отсюда выйду, я напишу книгу и сразу стану великим писателем. Нет, я опять болтаю чушь, и ты ничего не понимаешь!.. Дело вот в чем: на днях умерла Лена. Ты помолчи, не перебивай, ты не знаешь. Лена. Белоснежная девушка, волосы алые, как флаг... Умерла после удачной операции, ни с того ни с сего, с бухты-барахты. Что-то с сердцем случилось. А пять лет назад погибла моя мама. Еще нелепей и страшней. И еще и еще... Теперь ответь мне: к чему вся эта возня со мной? Ведь я совершенно безнадежна. К чему замечательный Макар Илларионович будет делать сложную операцию обреченному человеку? Для чего? Чтобы я прожила еще год, три, пять лет? Но ведь даже если я останусь на подолыше, мне все равно нельзя будет иметь детей! А дети – это главный смысл во всем! Хоть с этим ты согласен?

– В том, что главный смысл, согласен. А в остальном... – Он вздохнул и замолчал. И я подумала, что он больше ничего не скажет на эту тему, не может быть, чтобы Макс его не проинструктировал. – У меня очень старенькая бабуля, – неожиданно твердо и громко сказал он так, что я даже сначала не сообразила, в чем дело, и подумала, что это он мне хочет рассказать анекдот. – Такая старенькая, что каждый день, возвращаясь с работы, я боюсь, что не она откроет мне дверь, – продолжал он не глядя на меня. И я поняла, что анекдота не будет. – Они с дедом любили друг друга с пятнадцати лет... Потом она пять лет ждала его с войны. Дождалась... Наконец, когда им исполнилось по двадцать два года, они поженились. И прожили семь месяцев, день в день. Ты взрослая девочка, тебе не надо объяснять, что значит ждать семь лет, а прожить с мужем семь месяцев...

Он долго молчал, прежде чем опять заговорить...

– Это был очередной налет банды петлюровцев. Деда повесили на глазах у молодой жены, а ей самой обрубили топором пальцы на обеих руках. Все десять пальцев, до второй фаланги... Но не до конца обрубили, – продолжал он, по-прежнему не глядя на меня, – пальцы потом срослись. Ужасно, правда, срослись, так, что глядеть страшно, но все же какие-никакие, а руки... А в тот момент она, обезумев от боли и горя, волоча болтающиеся, как плети, руки с обрубленными пальцами, оставляя за собой кровавую дорожку, бежала на обрыв, чтобы броситься вниз, в реку. И когда она добежала, то вдруг почувствовала, как отчаянно бьется в животе ребенок, словно понимая, что она собирается сотворить, словно

умоляя о жизни... Так она осталась жить, а через три месяца на свет появился мой отец, которого она назвала именем деда...

Он рассказывал это очень просто и твердо. Как-то повествовательно, как сказку рассказывал: «Жили-были...» И от этого делалось еще страшней, и хотелось сжимать кулаки и плакать оттого, что это было на свете...

– Я не знаю, зачем все это тебе рассказываю, – виновато сказал он. – Я приготовил положительные эмоции, целый вагон хороших анекдотов. Но когда я тебя увидел, то понял, что анекдоты не нужны. Поэтому рассказываю что-то не то...

– Именно то! – нетерпеливо перебила я его. – Именно, именно то!

– Ну тогда слушай дальше, – сказал он и переложил сетку с колен на скамейку. Апельсины свободно раскатились, и один даже упал со скамейки, застряв в сетке и оттягивая ее, как баскетбольный мяч. – У бабули не осталось ни одной дедовской фотографии. Так уж получилось. Люди редко в то время фотографировались, и потом, она тотчас же уехала из того городка, где жила с дедом. Я не думаю, чтобы она забыла его лицо. Ведь мой отец поразительно похож на деда, а я, говорят, еще больше. Нет, конечно же, она прекрасно помнила его лицо, хотя с того дня прошло пятьдесят лет... И вот – это было совсем недавно, месяца три назад – какие-то дальние родственники из Киева прислали вдруг фотографию деда. Они, наверное, копались в своем альбоме и наткнулись на нее. Сначала не могли вспомнить, кто это, а когда догадались, решили прислать ее нам. И то правда – зачем валяться чужой фотографии в семейном альбоме... Ты знаешь, я никогда еще не видел таких лиц у людей, какое было у бабушки, когда она распечатала письмо с фотографией. Знаешь, это, наверное, совсем нелегко – увидеть лицо любимого, которого похоронила пятьдесят лет назад. Она не сказала ни слова и весь день провозилась на кухне. Но ночью... У нас тесновато, и мы с бабушкой спим в одной комнате. И я слушал, как всю ночь она проговорила с дедом. Плакала и говорила: «Ну, как я тебе нравлюсь? Посмотри, на что я стала похожа. Ты видишь эти руки? Что же это творится, боже мой, что твой младший внук на год старше тебя?» Потом, утром, она мне призналась: «Когда я разорвала конверт и оттуда выпала его фотография, у меня помутилось в голове, и я, знаешь, на самую маленькую секунду подумала, что мне двадцать два года, а он уехал на ярмарку, в Дунаевцы, и пишет мне оттуда письмо. А его смерть и вся моя жизнь – это просто страшный сон, который снился прошлой ночью...» Больше ничего интересного я не расскажу. Ешь апельсин, не напрасно же я за ними в очереди стоял!

– Мне эта жизнь кажется удивительно прозрачной и ясной... – задумчиво проговорила я. – Можно смотреть на мир сквозь историю этой скорбной жизни и отсеивать добро от зла...

– Я хочу, чтобы ты съела апельсин на моих глазах. Вот смотри, я его почистил... Кто это идет там, в конце аллеи?

– Это Макар Илларионович! – испугалась я. – Сейчас мне влетит за то, что я в тихий час здесь болтаюсь!

– Что за имя, боже! – сказал он. – Карл у Клары украл кораллы.

Но Макар Илларионович даже не остановился. Он стремительно прошел мимо нас, не взглянув на меня, и скупой обронил:

– Долго не сиди. Сыро...

Его удаляющаяся четырехугольная спина в белом халате казалась мне оплотом надежды и веры.

– Кто тебе будет делать операцию, этот Фантомас? – спросил Борис, глядя вслед Макару Илларионовичу. – Что у него с шеей?

– Это фронтовое ранение, – сказала я. – Он мне рассказывал когда-то, очень давно, девять лет назад, и я уже смутно помню эту историю... Наши форсировали реку, а на том берегу были немцы и держали нас под непрерывным огнем. И в общем, кому-то из наших нужно было переплыть реку и что-то узнать или сделать – я в военных делах ничего не пони-

маю. Но это задание было равносильно смертному приговору – настолько опасной казалась переправа... И тогда командир Макара Илларионовича сказал: «Ребята, нужно плыть. Того, кто решится, представлю к ордену...» И Макара бросился в воду. Вот тогда он и получил это ранение в шею. Но все-таки доплыл и что полагалось сделал. А вот голову повернуть – ни в какую!

– А орден? – заинтересовался Борис.

– Командира в том бою убило... Я спросила у Макара Илларионовича: вот когда он плыл, о чем думал? А он говорит: «Вот представь себе, думал, как по селу перед девчатами пройду – сапоги начищены, гимнастерка новенькая, а на груди – орден! Когда ранило, тогда уже твердил себе: „Выплыть... выплыть...“ Насчет девчат он, конечно, пошутил. Он вообще шутник. Первую операцию он мне сделал, когда я в первый класс пошла. И за день до нее говорил: „Представляешь, будет у вас когда-нибудь урок анатомии, на котором изучают челове́чьи потроха. А ты встанешь и скажешь: “Видали вы человека с одной почкой?” Вот смеху-то будет!“ Но та операция была ерундой по сравнению с предстоящей... Тогда можно было шутить...»

Борис ничего не ответил, и мы еще посидели так тихонько, греясь на скудном осеннем солнышке.

Я вспомнила, что сейчас должен прийти Максим, и представила, как я буду сидеть между ними – такими красивыми парнями. И как это будет выглядеть.

– Ну ладно... – сказала я ему. – Посидел, и будет. Проваливай...

Я проводила его до проходной, чуть отставая и пытаясь запомнить его плечо и щеку – то, что мне было видно, это на всякий случай, если он больше не придет.

«Случись что-нибудь! – мысленно молила я то обстоятельство, которое еще не имело названия в моем воображении, но которое должно было расставить все по своим полкам... – Случись что-нибудь!»

И случилось. Как тогда, у подъезда.

– Ты знаешь! – вдруг остановившись, воскликнул он. – Совсем забыл тебе сказать! Я ведь сейчас встретил в автобусе ту девушку, из театра!

– Вот так удача, – сказала я страшным голосом, забыв поставить восклицательный знак в конце предложения. – Надеюсь, на этот раз ты не упустил случая...

– Ни за что бы не упустил! Я бы ехал за ней до самой конечной остановки, если бы... – он хитро посмотрел на меня, – ...если бы не торопился так к тебе...

...Ночью меня разбудило ощущение резкой перемены во всем окружающем мире. Я поднялась и подошла к окну.

Сильный ливень избивал и без того голые, беззащитные деревья. По всему стонущему от ветра парку шла жестокая расправа над теплом и безмятежной ясностью самонадеянной осени.

Я отошла от окна и легла, заложив руки за голову. По противоположной стене до расвета метались, прося пощады, ошалелые тени деревьев. Все это было похоже на позор разгромленной армии.

А под утро за окном медленно поплыл снег. Он падал бесшумно и устало, как будто не являлся впервые, а возвращался на эту землю. Возвращался мудрый и умиротворенный, пройдя долгий путь, неся в себе некую разгадку и успокоение людям...

Сквозь сон я слышала, как пробуждалась клиника, хлопали двери в умывальной, шаркали больничные тапочки. Потом открылась дверь в нашу палату, быстро вошел Макара

Илларионович. Он подошел к моей койке и положил руку мне на плечо. Этот жест был властным и успокаивающим одновременно. И я все поняла.

– Макар Илларионович, что? Уже? Уже сейчас? Неужели сейчас?! – Губы у меня одеревенели, и я не могла ими шевелить.

– Ты у нас умница, – серьезно сказал он. – Ты должна нам помочь. Ты же умница!

– Вы думаете, я могущественная, как Микки Маус? – пытаюсь улыбнуться дрожащими губами, спросила я.

– Микки Маус тебе в подметки не годится, – так же серьезно сказал он. – Можешь взять его к себе в адъютанты.

Выходя из палаты, он остановился в дверях.

– Ну, отдохни еще секунду. Полежи, подумай о чем-нибудь веселом.

Как только за ним закрылась дверь, я схватила карандаш и, вырвав из ученической тетради листок, быстро написала: «Папа, прости меня! Я всех вас очень люблю!»

И тут я взглянула в окно. И увидела, как на зеленых санках, в рыжем меховом комбинезоне мчит по чистейшему снегу повелитель всего живого на земле Гогия, а запряженный в сани счастливый усатый родитель делает громадные скачки, отчего его нескончаемые ноги еще больше похожи на складную металлическую линейку.

И я скомкала этот жалкий листок бумаги и швырнула его в сторону.

Внезапно я вспомнила бабушку Бориса и подумала: помнит ли она, спустя пятьдесят лет, живое прикосновение своего юного мужа? Помнят ли ее руки прикосновение к его рукам? Нет, наверное. Наше тело забывчиво.

Но оно живо – его обьятие! Оно ходит по земле в образе его сына и внука, еще больше похожего на деда, чем сын! Жива моя мама. Потому, что я жива. И буду жить долго-долго.

«Да, – подумала я, – вот это главное; люди ходят по земле. Одни и те же люди, только с поправкой на время и обстоятельства. И если понять это и крепко запомнить на всю жизнь, то не будет на земле ни смерти, ни страха...»

«А теперь я полежу еще секунду и подумаю о чем-нибудь веселом, – сказала я себе. – О чем же? Ну хотя бы о том, как завтра или послезавтра придет Борис и напишет мне записку, какой-нибудь каламбур вроде: „Оперативно здесь делают операции!“ А я в ответ на том же листке попрошу медсестру написать крупно, латинскими буквами: „Po blatu“...»

Двойная фамилия

– А в чем, собственно, дело, сказал я ему, чем тебя смущает моя двойная фамилия?

В конце концов твою я взял, вот она, красуется в паспорте, вполне благозвучная, – Воздвиженский. Хоть поклоны бей. А? Я говорю – хорошая, звучная, церковно-славянская...

Ты смотри на дорогу, сказал я ему, а то мы в дерево врежемся...

Да, мамина не такая звучная, но, понимаешь, меня все-таки мать воспитывала. Да если хочешь знать, сказал я ему, я б и фамилию Виктора себе присобачил, только боюсь, что на строчке не поместится. И потом тройную уже вряд ли кто запомнит. Особенно в армии, представляешь, как меня из строя вызывать или на гауптвахту сажать? Так что не переживай, сказал я ему, вполне прилично: Крюков-Воздвиженский.

Не дуйся, что тебе – тесно? Неуютно?.. Почему – глупо? А Голенищев-Кутузов, сказал я ему сразу, а Лебедев-Кумач, а Борисов-Мусатов, а Римский-Корсаков? А Семенов-Тянь-Шанский, а Мусин-Пушкин? Ну?

Да, я начитался, сказал я ему. Есть такая слабость.

Вот именно, не порок. И даже, как принято считать, – достоинство...

...Ну конечно, изменился, сказал я ему, мы ж три года не виделись. Я ж расту, па, сказал я ему, я в принципе живу дальше...

И пусть тебя моя двойная фамилия не тревожит. На Западе, знаешь, почти у каждого человека двойное или даже тройное имя. Почему это тебе плевать на Запад, поинтересовался я, плевать никуда и ни в кого не следует, па, это некрасиво. А то плюнешь, сказал я ему, и попадешь ненароком в Эриха Марию Ремарка, или в Федерико Гарсиа Лорку, или в Габриэля Гарсиа Маркеса. Будет неловко... Запад люблю? Конечно, люблю, па, я все люблю: и Запад, и Восток, и Юг, и Север.

Я не дер-зю, сказал я ему, я поле-мизи-рую. И потом у меня ж переходный возраст еще не кончился, так что не расстраивайся.

Да ты смотри на дорогу, сказал я ему, мы же о столб шмякнемся!

...Ой, не спрашивай, не бреди открытую рану. Еле переполз. По алгебре трояк, по физике – переэкзаменовка. Мать надеется, что за лето ты со мной подзанимаешься. Думаю, это был решающий момент в пользу моей поездки к тебе. Ты же знаешь, сказал я ему, она всегда косо смотрела на эти поездки.

По химии тоже трояк, но более жизнеспособный...

Знаешь, сказал я ему, сам удивляюсь, в кого я такой тупой? Все-таки мать – конструктор, баба толковая, ты у меня вообще: не кот начихал, изобретатель с медалями, три кило патентов. А я как увижу эти ряды формул, так мне тошно становится, вот здесь, под ложечкой. Упрусь взглядом в цифры и ничего не хочу понимать. Организм протестует. Ну почему я должен ползти к этому дурацкому аттестату, почему?!

По сути дела, сказал я ему, происходит многолетнее насилие над человеческой личностью... Как – над чьей? Над моей, конечно! Чего ты смеешься? Это очень серьезно. У меня надорванная психика.

Ну, по литературе, по истории пятерки, конечно, сказал я ему, а что толку? Недавно доклад сделал, историчка просила: «Отражение истории Российского государства в полотнах русских художников». Да, ничего вроде получилось. Бегло, конечно, очень общо, сказал я ему, разве можно такую тему за полтора часа охватить... Репродукции Виктор дал, это ж его хлеб, у нас тьма альбомов дома.

Устроили, конечно, из этого мероприятие, согнали три девятых класса, историчка сидела на задней парте и тихо млела – ей же это засчитывается за внеклассную работу. А вообще, па, все это чепуха, сказал я ему...

Ни за что! Делать из этого профессию? Быть, как Виктор, каким-нибудь искусствоведом или литературоведом? Да ты что, па, ты меня не уважаешь, сказал я ему. Всю жизнь насиловать искусство только потому, что у меня неплохо подвешен язык и я прилично разбираюсь в живописи?.. Нет уж, спасибо. Существовать в искусстве достойно можно, только создавая что-то свое. А понимание – это всего лишь неплохие мозги, разве можно *понимание* искусства делать профессией? И потом, я как услышу это слово – искусствовед, мне смешно становится. Представляю себе такого типа, который искусством ведаёт, вроде завхоза со связкой ключей. Нет и нет!

А талантов, сказал я ему, никаких за мною не водится, увы...

А никем не хочу... Нет, правда, никем не хочу быть. Ну, ты меня серьезно спрашиваешь, а я серьезно отвечаю.

Нет, ты не так понял. Не в смысле плевать в потолок. Не хочу всю жизнь быть к чему-то привязанным: к месту работы, к такой-то квартире по такому-то адресу, к такой-то женщине, записанной в моем паспорте. Это, по сути дела, крепостное право... Как представляю? А вот как, сказал я ему: я – свободен, совсем, передвигаюсь куда хочу, когда хочу и как хочу, зарабатываю необходимый минимум на хлеб, картошку и книги как получится – где вагон разгрузу, где на прополку овощей наймусь... У нас такая личность называется «бич» и преследуется законом, а вот во Франции очень принято, например, наняться на сезон в Голландию – тюльпаны сажать.

Ну что ты заладил, па, сказал я ему, «смотришь на Запад!». Я кругом смотрю, не только на Запад. Я смотрю вокруг себя, сказал я ему, а не только в указанном направлении, хотя мне с детства направление пытались указывать все кому не лень. Родители – еще туда-сюда, куда их денешь, сказал я ему, но вот тебя хватают за шиворот, суют в общий вагон, и всех в одном направлении: сначала октябрятская звездочка, потом дружный коллектив класса, потом комсомольская ячейка института, и так до конца жизни. Ой-ой-ой, испугал: одиноличник! Надеюсь, сказал я ему. Надеюсь, что я – одиноличник. Все, что сделано в искусстве и науке, сделано одиноличниками.

Ну ладно, сказал я ему, не пугайся. У тебя, па, вид такой обескураженный. Думаешь, наверное, что я попал в лапы наших врагов. Мало ли чего я болтаю, сказал я ему, возраст такой, переходный, и три года мы не виделись. Ты меня здесь за лето обстригаешь и отполируешь до зеркального блеска. Смотри на дорогу... Грузила новые купил? Молоток... Помнишь, на Голубых озерах цаплю, похожую на твоего Кирилл Саныча! Ох, умора! Па, а правда у меня совсем уже бас установился? Почему это – баритон? Бас, бас, сказал я ему, натуральный бас. Нас с Виктором почему-то путают по телефону, говорят – голоса похожи. По-моему, совсем не похожи... При чем тут Виктор?

Дома как? Нормально дома... Мама? Ну ты же знаешь, сказал я ему, мама всегда больна...

«...В самом деле, и чего я привязался к нему с этой двойной фамилией? Просто в тот момент, когда он с гордостью продемонстрировал новенький, словно отутюженный паспорт с этой самой фамилией-поездом, меня вдруг как обухом: он все знает!

Боже мой, как я его ждал! Как я выцарапывал его *оттуда* в это лето телефонными звонками, письмами, телеграммами. Я отправил на дорогу всю премию, хотя на билет хватило бы ее пятой части. До вчерашнего дня я так и не был уверен, что они отпустят его. Ведь изобретали же они причины все эти три года.

Ничего, ничего, я просто перенервничал. Все в порядке, шеф, все в полном порядке. Досадный срыв – не спал две ночи, с утра гонял на рынок за фруктами, драил свою берлогу и все время думал: теперь он взрослый парень, взрослый. Мы же три года не виделись. Он с

такой щенячьей гордостью показал мне паспорт со своей двойной фамилией, черт бы меня подрал. И я вдруг глупо прицепился к нему, дурак, жалкий старый дурак!

Да, я растерялся. Хотя при чем тут двойная фамилия? Вот при чем: запахло жареным. Столько лет я частенько в мыслях жалел Виктора, да, мне в голову не приходило жалеть себя. Я так и думал этими словами: «бедняга Виктор», думал я. А тут, когда в самую точку было бы пожалеть Виктора именно сейчас, я испугался. Я понял впервые, что чувствуешь, когда тебя прошибает холодный пот.

...Ну что ж, наивно думать, что мальчик проживет всю жизнь, так и не узнав правды. Это несправедливо по отношению к нему. Когда-нибудь придется все рассказать, расставить по местам каждого из нас, разъяснить эту дикую ситуацию, разобрать по камешкам крепость лжи, возведенную для его спокойствия. И что говорить при этом? Доведись мне – что бы я сказал ему?

Видишь ли, мужик, мы лгали во имя тебя, сказал бы я ему. Ради тебя трое взрослых людей поддерживают доброжелательные отношения по телефону, договариваются о разных бытовых мелочах, обсуждают твой характер и планы на будущее, – трое взрослых, которым давно хочется забыть друг о друге...

Видишь ли, мужик, сказал бы я ему, начинать-то надо не с тебя, а с того, что восемь лет тебя не было, и с каждым годом таяла надежда, что когда-нибудь ты появишься. Мама всегда была больным человеком – почки, гипертония, то, се, а главное, органы, которые предназначены для этого дела, ну, ты взрослый парень, сам понимаешь... Восемь лет...

Да, сказал бы я ему, это верно, мы неважно жили с твоей мамой. Не сразу, конечно, но наша тающая надежда теплилась, как чахоточная девочка в семье. Знаешь, это подтачивает отношения мужчины и женщины. Нет, конечно, есть семьи, прекрасно существующие без детей, но здесь другой случай.

Словом, когда надежда на твое появление совсем зачахла, тут ты и забрезжил. В один прекрасный для меня день. Врачи уверяли, что наш случай один на тысячи. И тогда я подумал: мой ребенок должен быть чертовски везучим, если ему удалось возникнуть и выжить тогда, когда это не удастся тысяче другим. Мой ребенок будет счастливым, думал я, ведь ему уже повезло. И я стал ждать тебя. Я неистово ждал тебя, мужик, сказал бы я ему, для меня уже тогда ты был не смутным зреющим комочком, а конкретным человеком, личностью, уже совершившей поступок тем, что крохотной клеточкой уцепился за жизнь на краю небытия и выжил.

Знаешь, мужик, сказал бы я ему, вот тогда все изменилось у нас. Твоя мать стала вдруг очень нежна со мной. Ее обычная раздражительность растворилась в нашем общем ожидании тебя. Ну что ж, говорил я себе, значит, это правда, что женщина становится мягче и трепетнее в этот период. Ты уже взрослый парень, мужик, сказал бы я ему, бойся внезапной женской нежности. Это нежность подползающего удава, заранее жалеющего свою жертву.

У меня нет ненависти к твоей матери, мужик, сказал бы я ему. Просто у нас с ней свои счеты, и не твоего ума это дело.

Да, это правда, что я не забыл и не простил ей никогда, но – непредательства, нет – все мы слабые люди, сынок, и всякое может случиться с человеком; я не простил ей этой обдуманной нежности. И в дальнейшем я не прощал этого всем женщинам, которых встречал на своей дороге. Поэтому я один, мужик, сказал бы я ему...»

... – Мама? Ну, ты же знаешь – мама всегда больна, поэтому проживет дольше нас всех. Почему груб? Я не груб, сказал я ему, а критичен. Мать я люблю, она меня вырастила, просто объективно оцениваю действительность. Вот кто правда сдал в последнее время – это Виктор. Кажется, я писал тебе, что полгода назад его трахнул небольшой инфаркт? Сло-

вечко? Да брось ты, па, сказал я ему, это не хамство, я прост и суров. Ты просил рассказать, как дома, я рассказываю.

Так вот, Виктор... После этого инфаркта он постарел, как будто разом от всего устал. Он вполне приличный дядька, ты же знаешь, мы с ним всегда ладили, а в последнее время он стал угрюмый, вспыльчивый, пару раз даже стычки у нас были... Ну и что? Больной не больной, это не повод орать.

Что на днях было, к примеру: сидели мы на кухне, завтракали. Я, не помню уже по какому поводу, говорю матери, мол, что за имя вы с отцом мне выбрали – Филипп! Дура классная уже раза два остроила, что мой аттестат будет филькиной грамотой. Не могли назвать каким-нибудь нормальным Сашей или Димой?

А мать мне на это, довольно мирно, между прочим, говорит: зато, мол, этих Саш и Дим в каждом классе по пять штук, а ты такой один на всю школу... Ой, па, ей-богу, смотри ты на дорогу, сказал я ему, что ты каждую минуту на меня вытаращиваешься!

Так вот... А я тут и говорю ей: тогда надо было назвать меня Остеохондроз, я был бы один такой на весь земной шар. Нормально схохмил? Вот. Был бы, говорю, Остеохондроз Георгиевич Крюков-Воздвиженский... Дело в том, что, понимаешь, мать разыскала у себя новую болячку, этакую милягу – остеохондроз. Целыми днями только и слышишь: остеохондроз там, остеохондроз здесь. Он прямо как член семьи у нас поселился. Ну ты же знаешь, когда мать увлекается какой-нибудь новой болезнью, она делает это вдохновенно и с большой душевной отдачей.

Нет, ты не подумай, сказал я ему, мать я вообще-то жалею, но больше всех ее жалеет она сама. Ой, ну ладно, дай дорасскажу, потом насчет сострадания выдашь.

Только я пошутил про этот самый остеохондроз, Виктор вдруг ни с того ни с сего как шарахнет кулаком по столу и давай нести всякую ахинею: тра-та-та благодарность, ну ни к селу ни к городу, а главное, совсем не из своей оперы. Какой-то воспитательный момент из плохой телевизионной киношки. Я даже оторопел. Так и такие словеса, между прочим, мелькали, про поим-кормим-одеваем. Ну разве не гадость, па? Тем более что ты очень прилично на меня посылаешь. Я возмутился и демонстративно свой бутерброд надкушенный ему предоставил прямо под нос... Между прочим, так и уехал не помирившись. Виктор, надо сказать, переживал и в последний день даже подлизывался слегка, хотел наладить отношения. Но я – фиг вам, я человек суровый.

Не морочь мне голову, па, почему я должен спускать несправедливость только потому, что человек себе инфаркт нагулял? Да нет, «нагулял» – это, конечно, опечатка, сказал я ему. Куда Виктору гулять при его брюшке и лысине, кому он нужен! Вот ты у меня молоток, сказал я ему, подтянутый такой, сухопарый американец. Грива седая, суровые морщины лоб бороздят. Смотрю на тебя, и мне льстит мой портрет в ста... в зрелом возрасте, я хотел сказать... Кстати, как у тебя в личном, па, без новостей?.. Ну, извини, извини, сказал я ему, главное – смотри на дорогу, мне еще жить да жить...

«...Поэтому я один, мужик...

Впрочем, одну женщину неизменно вспоминаю с почтительной нежностью незнакомца.

Я даже имени ее не знал. Вообще я ничего не знал о ней. Только видел. Ночью, когда она включала лампу, чтобы покормить своего ребенка.

Ты, конечно, не помнишь нашей старой квартиры. Тесная такая двухкомнатная квартира, какие строили лет тридцать назад. И дома строили кучно, чуть ли не впритык один к другому. Наши окна и окно этой женщины просто гляделись друг в друга.

Это было время, когда я отсчитывал дни до твоего рождения. Ты же знаешь, я люблю работать по ночам. Кофе покрепче, пачка сигарет, чертежная доска и тетрадь с расчетами –

да, бывают вечера, когда за работой я чувствую себя счастливым. А в те месяцы, мужик, мне удавалось все необычайно, минутами я верил, что в своем деле способен на нечто выдающееся...

Так вот, около двенадцати тихим светом озарялось окно в доме напротив. В освещенном, без занавесок, прямоугольнике окна простоволосая женщина в сорочке двигалась по комнате медленно и сонно, как рыба в аквариуме.

Иногда, накормив ребенка, сразу укладывала его в коляску и гасила свет. А бывало, подолгу укачивала его, лунатически слоняясь по комнате. Никого другого никогда в этом окне я не видел. Женщина всегда была одна. Она и ребенок.

Сначала мне казалось странным, как при такой скученности домов она не догадалась повесить занавески, ведь вся комната с унылой железной кроватью и детской коляской просматривалась от стены до стены. Потом я понял: ей было не до того. Когда каждую ночь тебя будит голодный плач ребенка, и ты с усилием отрываешь от подушки тяжелую голову, и собственное тело кажется ватным и свинцовым одновременно, и это изо дня в день, вернее, из ночи в ночь много месяцев, – тогда, конечно, тебе абсолютно до лампочки, что там видят из окон соседи, а если и видят, то пусть катятся ко всем лешим.

Я понял это пару месяцев спустя, когда родился ты, и наши окна стали зажигаться почти одновременно – на переключку Великого Братства Кормящих. Только у меня не было такого преимущества, как благодатная грудь, полная молока. Поэтому, натываясь на косяки и поскуливая от усталости, я сначала тащился на кухню разогревать бутылочку.

Но все это было потом, сказал бы я ему, потом, после того звонка.

День, когда ты родился, когда я наконец дождался тебя... Ладно, не будем об этом, не стоит распускать слюни, мужик, а без слюней я здесь не обойдусь, сказал бы я ему. Видишь ли, мне исполнилось в тот год сорок лет. Когда мужчине стукнет сорок, это, как ты говоришь, не кот начихал. Мне было сорок лет, и я кое-что умел в своем деле, и вот у меня родился сын.

Я до сих пор помню голос женщины в справочной роддома, голос с певучим украинским растягиванием гласных: «Сы-ин у вас...»

Да, мужик, сказал бы я ему, незачем гневить судьбу – я пережил это мгновение. И целых два дня потом у меня был сын. У меня был сын, мужик, целых два дня. И я этому моему сыну успел закупить все, что требуется для счастливой жизни, – пеленки, распашонки, шапочки и замечательную коляску цвета морской волны.

А потом мне позвонили... Накануне вечером я поздно лег – до часу клеил обои в будущей твоей комнате. И всю ночь мне снилась наша эвакуация в Ташкент, черные, паленные солнцем толкучки и мама, удивительно живая и сытая. Всю ночь крутилась муторная карусель – тяжелое, давящее сердце, детство, а в полвосьмого меня разбудил звонок.

– Георгий? – спросил прерывистый, торопящийся голос женщины. – Вы знаете, что ваша жена родила не от вас?

Это было продолжением дурного сна.

– Вы не туда попали, – сказал я.

– Туда! Туда! – крикнула она надрывно, толчками и, кажется, плача. – Господи, о чем вы думаете?! Вы что – считать не умеете? Жена рождает после курорта восьмимесячного ребенка на четыре кило, а муж как слепой, как дурной – ходит и радуется!

– Какой курорт? – спросил я, растирая ладонью занемевшее сердце. – Что вы мелете?

– Ну турпоездка, куда там они ездили – в Киев, в Минск? Какая разница? – Она плакала.

– Кто вы такая? – спросил я. Хотя мне уже было все равно, кто она такая, потому что я вдруг разом и окончательно понял, мужик, что все это – правда.

– Да я и есть жена Виктора!

– Какого Виктора? – спросил я. Кажется, у меня был очень спокойный, замороженный до бесчувствия голос.

– Вы что – спите?! – крикнула она. – Вы понимаете, что я вам сказала? Господи, вы понимаете, что в нашей жизни произошло?! Мы были у вас в прошлом году, вспомните, на дне рождения!

– Я ничего не помню, – сказал я.

– Мы пришли с Тарусевичами!

– Я ничего не помню, – тихо повторил я. Видишь ли, мужик, кто там куда пришел с Тарусевичами, зачем и когда – вся эта галиматья меня уже не интересовала. Главное заключалось в том, что у меня отняли сына.

– Что вы молчите?! – кричала она. – Алло! Вам что – плохо? Вы слышите меня? Я жена Виктора. Он позавчера бросил меня, ушел, сказал, что любит вашу жену. Мы должны это пресечь, слышите?! Сделайте что-нибудь, вы же мужчина! – Она всхлипнула и добавила тише: – Только не бейте ее, а то молоко пропадет.

Проклятая бабья солидарность, подумал я тогда, даже в такой ситуации.

Чего она добивалась, на что рассчитывала эта женщина, когда, сидя на руинах собственной семьи, громила чужую? Впрочем, что может рассчитать обезумевшая от горя женщина...

Я опустил трубку, но весь день чудилось, что подними я ее – и забьется, заколотится внутри надрывный плач.

Я собрал чемоданчик. При моей профессии, мужик, и с моей башкой я мог устроиться где угодно и мог ехать куда угодно, лучше – подальше. И мог с чистой совестью открывать, как говорится, новую страницу своей жизни. Я и собирался это сделать.

Мне было сорок лет, и я кое-что умел в своем деле и был одинок и свободен, одинок и свободен. А ведь это немало, правда? И не стоит очень вдаваться в мои чувства, сказал бы я ему. Ей-богу, не стоит очень носиться с моими тогдашними переживаниями. Подумаешь – кто-то кого-то предал, вернее, предавал, расчетливо и долго. В жизни ведь и не такое случается, верно, мужик, жизнь – штука страшная.

Оставалось только забрать из роддома ее и этого ребенка. Ведь она была совсем одна в Москве, а рыскать по городу в поисках пресловутого Виктора с тем, чтобы он принимал свое хозяйство... Нет уж, увольте... Мне не было дела до этого Виктора. Все-таки к тому времени мы прожили с твоей матерью почти девять лет, а это – как ты говоришь? – вот-вот: не кот начихал... Отделаться запиской на столе? С детства привык выяснять отношения лицом к лицу. Да и странно было бы уехать не объяснившись. Впрочем, особенно-то разбираться в этой истории я не собирался; где там они встречались, сколько и когда – а катились бы они к такой-то матери.

Но вот один вопрос я бы ей задал. Наверное, трудно, спросил бы я, носить под сердцем ребенка от одного мужика, а обнимать другого. Наверное, трудно, спросил бы я, говорить при этом нежно: «Наш маленький...» Наверное, трудно, очень трудно улыбаться, когда мужчина бережно притрагивается к большому, драгоценному для него животу, чтобы почувствовать толчки чужого ребенка?... А, ладно!..

Словом, в положенный день я сложил в пакет необходимые для младенца вещички, все честь по чести, и пошел в роддом. Между прочим, даже с цветами. Уж что-что, думал я, а цветы она заслужила, все-таки настрадалась, человека родила, моего – не моего, какая разница, боль одна.

Сидел я в этом зале, куда по одной выводили рожениц с кружевными свертками нежных тонов, мусолил букет гвоздик и ждал, когда выведут ее.

Устал я от всего страшно, от черной пустоты, которую, словно дупло в дереве, выжгла во мне горечь. Сидел и равнодушно прислушивался к писку новорожденных в комнате за дверью, где их одевали. Что было мне до этого писка, когда моего сына не существовало на свете!

Наконец вывели ее. И такая она оказалась измученная, желто-восковая, тощая, как говорится, краше в гроб кладут, что сердце мое вдруг сжалось. Бог ее знает, о чем она передумала там, в палате, глядя на своего ребенка. Тоже ведь, поди, нелегко, одно дело – носить его, неизвестного, а другое дело – в лицо заглянуть: вот он, лежит в пеленках, дышит, сосет. Человек. Рано или поздно о чем-нибудь да спросит.

Такая у меня, должно быть, физиономия была, что всю дорогу в такси твоя мать спрашивала тревожно: «Что с тобой? Что-то случилось?» А как увидела в прихожей мой чемоданчик, все поняла: сжалась, голову в плечи втянула, маленькая и сутулая.

Я положил сверток в кровать, ребенок завозился и чихнул два раза очень забавно, как взрослый... Безбровый и насуспенный, словно рассерженный. А носа и вовсе нет – две дырочки.

– Важный, – сказал я, рассматривая его. – Директор. Наверное, на Виктора похож?

– Клянусь тебе!! – выкрикнула она жалко и пронзительно. – Клянусь тебе, это сплетни! Это ложь! Он твой, клянусь тебе!

И по тому, мужик, как она извивалась, как она кричала – задушенно, словно птица, которой мальчишки сворачивают голову, – я убедился окончательно, что все – правда. И еще она подалась всем своим тощим телом к кровати – закрыть, защитить от меня своего птенца, будто я мог причинить ему какой-то вред.

И так мне жалко их стало – и ее, и этого чужого малыша. Ведь они были одни, вдвоем, на всем свете. Беспомощные, они принадлежали друг другу, как косточка принадлежит сливе, и в этом заключалась мощная правда жизни, а все остальное, и мои паршивые переживания в том числе, было ерундой.

И объясняться мне тогда расхотелось, и вопросы свои задавать. Такой у нее вид был замученный и худоба страшная – кого казнить, с кем счеты сводить? Что там творилось в ее душе, в ее совести, что она сожрала себя всего за неделю? Бог знает...

А потом ребенок заплакал и долго истошно верещал, потом надо было кормить его, потом он обмочил и испачкал подряд невероятное количество пеленок, и их надо было сразу застирать и одновременно выгладить с двух сторон те, которые уже высохли, и – пошла крутиться карусель, какая бывает в доме с недельным младенцем, непрерывно орущим к тому же.

Я понял, что должен остаться дня на два, помочь ей освоиться, – она совсем растерялась, через час уже валилась с ног и даже раз пять принималась беспомощно рыдать, когда ребенок заходил в истошном крике.

А к вечеру выяснилось, что у нее высокая температура и боли в груди. К ночи она стала молотить галиматью и тоненько плакать.

Я вызвал «скорую». Толстая сердобольная докторша осмотрела ее и велела собираться в больницу. Твоя мать металась, хватала докторшу за полы халата, умоляла оставить ее, а та уговаривала:

– Ну что вы, милая, не убивайтесь так, ведь на отца оставляете, не на чужого дядю.

И когда твою мать под руки выводили к машине, она обернулась и посмотрела на меня таким затравленным взглядом, что я, мужик, задвинул свои чемоданчик ногой под стул, и она это видела.

Да, мужик, сказал бы я ему, вот так мы остались с тобою один на один, когда тебе исполнилась неделя.

Уже через час ты отчаянно орал, требуя материнскую грудь. Я распеленал тебя. Ты поджимал к животу красные скрюченные ножки, беспорядочно вздрагивал кулачками и верещал от голода. Что я мог сделать в двенадцатом часу ночи?! Магазины со спасительными молочными смесями для младенцев открывались в восемь, с голоду к этому времени ты бы, конечно, не умер, но душу из меня своим отчаянным криком к утру вытряс бы.

Я ходил по комнате, равномерно потряхивал тебя и едва не выл от сознания своей бесполезности.

И вот тут засветилось окно в доме напротив. Теперь я уже знал, что женщина зажигает свет не когда придется, а для двенадцатичасового кормления. Для меня же в ту крошечную ночь этот притушенный свет настольной лампы показался грянувшим с небес солнечным сиянием.

Я решился. Положил тебя, орущего, в кроватку, сбежал вниз, пересек темный двор и, взлетев на третий этаж, нажал на кнопку звонка.

– Кто там? – спросил за дверью заспанный женский голос.

– Откройте, умоляю, немного молока! – бестолково выкрикнул я, пытаюсь унять шумное дыхание.

Она сразу открыла.

До сих пор не могу понять – как не побоялась одинокая женщина открыть ночью дверь на маловразумительные вопли чужого мужика. Но она открыла. И спросила с готовностью:

– Что случилось?

Она так и стояла, какой я привык видеть ее в окне, – в ночной сорочке, растрепанная, не слишком уже молодая, с хронической усталостью на лице...

– Что у вас стряслось?

– Мальчик... – сказал я с дурацкой дрожью в голосе, ежесекундно помня, что ты лежишь там один, крошечный, орущий, ни в чем не виноватый червячок. – Мальчик... всего неделя... мать в больнице... безвыходное... умоляю вас...

– Тащите его сюда, – спокойно проговорила она, – у меня молока немного, но вашей пигалице хватит.

Я вернулся, схватил тебя, багрового от крика, завернул в одеяло, пересек темный двор и взбежал на третий этаж.

Женщина уже стояла в дверях, в той же сорочке, даже халата не набросила. Взяла тебя и сказала:

– Ишь ты, колокольчик. Погремушка. Весь подъезд перебудил. – Она села на кровать и, нисколько не смущаясь присутствием незнакомого мужчины, достала из глубокого выреза рубашки грудь, перевитую голубыми венами.

Ты жадно схватил сосок, захлебнулся, закашлялся, напрягая тонкую дыплящую шейку.

– Ну! – прикрикнула она и шлепнула пальцем по твоей щеке. – С голодного края!

Ты опять схватил грудь и засосал, шумно цокая и глотая. И я наконец сглотнул слюну и погладил колени потными ладонями.

– Вы спасли нас, – сказал я.

– Ничего, – хмыкнула она, разглядывая тебя, – недели через две будете гораздо спокойнее переносить его плач. А что с матерью?

– Мастит. «Скорая» забрала часа три назад.

– А! – сонно пробормотала она, прикрывая веки. – Ничего, все наладится... Все у вас наладится...

Она кормила тебя с закрытыми глазами, чуть раскачиваясь и придавливая большим пальцем грудь над твоим носом. Ее ребенок тихо спал в коляске у стены. Она не знала, что ничего у нас не наладится, ничего.

Желтоватый свет настольной лампы мягко высвечивал и округлял ее плечо, грудь и локоть, на сгибе которого уютно примостилась твоя голова. И это было красиво, трепетно и свято, как на полотнах старика Рембрандта. Завороженный, я следил за скольжением пугливых теней по ее растрепанной, покачивающейся голове, по усталому лицу, по тонким нервным рукам, и в горле у меня... да, ну ты мал еще, сказал бы я ему, ничего не поймешь...

Мал ты и глуп, как и положено в твоём переходном возрасте.

...Наконец ты выпустил сосок, смешно выпятив при этом крошечную нижнюю губу. Из уголка рта стекла по щеке белая бусина молока, лоб блестел от пота. Ты спал.

– Ну вот, – сказала она. – И всего-то для счастья надо.

– Да, – согласился я, – лет через шестнадцать обеспечить ему счастье будет гораздо сложнее.

И мы с ней переглянулись.

– А как вы догадались про меня, – вдруг спросила она, – что я кормящая?

– Я вас в окне вижу каждый вечер, – сказал я. – У меня письменный стол перед окном.

– Да... – Она усмехнулась. – Занавески бы повесить, да руки не доходят. Мы скоро съедем, – добавила она, – это подруга пустила пожить на три месяца, пока в отъезде. А вообще мы с нею, – женщина кивнула в сторону коляски, – комнаты снимаем... Знаете что, – предложила она, – оставьте-ка своего парня у меня до утра, ведь часов в шесть он опять жрать потребует. А я его здесь, с собой, уложу.

Действительно, лучше тебе было остаться до утра под теплым боком женщины, близ кормежки.

– Пожалуй, – согласился я. – Спасибо вам за все. Не знаю, как и благодарить.

– Да никак, – усмехнулась она. – Вот посмотрела на хорошего отца, и самой легче стало. Выходит, все-таки попадаются...

...Я вернулся домой, сел за письменный стол и собрался ждать утра. Свет в окне напротив погас, а я никак не мог заставить себя лечь и заснуть. Я ходил по комнате, мимо твоей пустой кровати, и не мог очухаться от всего, что на меня вдруг свалилось. Эта пустая кровать торчала перед глазами. Выходит, я сбыл тебя с рук. Обрадовался. Отделался. Хоть до утра, но отделался. Сильный, здоровый мужик топтался вокруг пустой кровати часа полтора и, наконец, не выдержал.

Я спустился, пересек темный двор, взбежал на третий этаж и снова позвонил в ее дверь.

На этот раз она долго не открывала, и я клял себя последними словами, но продолжал нажимать на кнопку звонка.

Наконец, она открыла.

– Ради бога, простите, я измучил вас, – виновато и торопливо произнес я. – Но знаете, лучше все же я заберу мальчика. Что-то места себе не нахожу... Кровать эта пустая... Лучше принесу его вам в шесть утра.

– Я понимаю вас, – сказала она, нисколько не раздражаясь. – Посидите, я нацежу молока в бутылочку, покормите дома, из соски...

Чужой ребенок, я водворил тебя на твое законное место в моем доме и вздохнул с облегчением. Ты спал, выражение маленького лица по-прежнему оставалось директорским, но не сердитым, а важно-умиротворенным. Я наклонился и долго разглядывал выпуклый лоб, закрытые веки. Потом легонько притронулся указательным пальцем к носу – кукольному, блестящему. И вдруг уголок твоего рта дернулся и съехал вбок в насмешливой улыбке. Какие ангелы снились тебе в эту первую беспокойную ночь в нашем доме?

И вот тогда я сильно пожалел, что ты не мой сын, потому что ты мне нравился. Впрочем, мало ли чужих симпатяг-детей с пухлыми щечками и кнопками-носами встречается нам в жизни? Нет, ты был чужим сыном, и мне надлежало только смотреть за этим чужим сыном, пока не вернется из больницы его мать, моя бывшая жена...

Утром я сбегал в ближайший магазин, купил коробки молочных смесей, колбасы и картошки – для себя, чтобы подольше не выходить из дому, и, вернувшись, позвонил на работу, попросил у Кирилл Саныча отпуск за свой счет, на две недели. Тот всегда ко мне хорошо относился, наверное, предчувствовал, что впереди у нас немало статей в соавторстве.

– Ты, Георгий, главное, не волнуйся, – сказал он, – а то молоко пропадет.

И засмеялся своей глупой шутке.

Я наварил тебе, мужик, жратвы на целый день и накормил до отвала, чтобы ты крепко спал и не морочил мне голову, пока я стираю пеленки и вожусь по хозяйству.

И так мы довольно мирно жили до обеда, пока не нагрязнула детская патронажная сестра, суматошная и шумная.

– Так, – начала она с порога, энергично оттирая ноги о сухую тряпку под дверью. – Здравствуйте, папа, поздравляю вас, с кем – мальчик, девочка?

– Мальчик, – пробормотал я, растерявшись от ее напора.

– Славненько! – Она вихрем промчалась в ванную, открыла оба крана до отказа и, моя руки, выкрикивала оттуда скороговоркой: – Замачивайте пеленки в ведре, немного марганцовки и мыла, потом прополоскать, и все! Иначе не настираетесь!

Из ванной ринулась в твою комнату, ни на секунду не умолкая:

– Водичкой поите? Хорошо! Писает часто? У-ю-ю, какие мы сердитые! Ну-ка, покажись тете, ну-ка, развернемся! Вот так! Прекрасно. Пупок зеленой мажете? Хорошо. Ох, какой голосок звонкий! Ну, перевернемся на животик...

Вдруг она умолкла и ниже склонилась над тобой. Потом нашарила в кармане халата очки и, надев их, молча продолжала рассматривать какой-то неожиданный гнойничок на сморщенной красной спинке.

– Что-нибудь не так? – насторожился я.

– Еще как не так! – пробормотала она. – Ага, вот еще один. Под мышкой... И за ушком... Все это, папа, очень похоже на стафилококковую инфекцию. А где мать?

– В больнице, – упавшим голосом сказал я. – Скажите: насколько это опасно?

– Опасно! – энергично ответила она. – Но вы, папа, не психуйте. Ребеночка мы госпитализируем, там его антибиотиками поколют.

Что и говорить, мужик, большое это было для меня облегчение – сбить тебя с рук на больничный харч и государственный уход. Но что-то не испытал я большого облегчения.

– Как – в больницу? Одного?

– Одного, одного, – бодро подтвердила медсестра. – Не с вами же... Вы только в руки себя возьмите, мужчина, что-то лица на вас нет. Сейчас малыша еще доктор наш посмотрит и быстренько выпишет направление.

Она вынеслась из квартиры, а я запеленал тебя, сел возле кровати и стал на тебя смотреть. И стал, мужик, представлять тебя, пятидесятитрехсантиметрового, на большой-то больничной койке, и огромный шприц со здоровенной иглой, которую всаживают в твою крошечную попку, и как ты бессмысленно орешь при этом, не понимая, откуда взялась боль и за что она.

Участковая наша врачиха, к счастью, оказалась не такой энергичной особой. Она осмотрела тебя, помолчала, спросила про мать и, наконец, сказала:

– Как участковый врач, я должна настаивать на госпитализации. Но как мать троих детей и бабка пятерых внуков, очень советую вам воспротивиться и оставить его при себе. Выпишу антибиотики, наша медсестра будет приходить к вам на уколы четыре раза в день. Не смотрите, что она торпедная, уколы делает великолепно. Только заплатите ей, конечно, она не обязана. А подработает с охотой, она троих гавриков одна поднимает... Будем надеяться на хороший исход. – И, почему-то понизив голос, добавила: – У нас, разумеется, лучшее здравоохранение в мире, но родной отец есть родной отец. Вы меня поняли?

Все они, как сговорившись, пытались внушить мне, что я имею к тебе самое непосредственное отношение. Но больше всех это втолковывал мне ты сам: орущим голодным ртом, ладошкой, шлепающей по моей руке, когда я кормил тебя из соски, огромным количеством мокрых пеленок, которые я должен был перестирать и перегладить за день...

Потом наступили совсем плохие дни, мужик, когда твое маленькое тельце превратилось в сплошную воспаленную рану. И я держал тебя распеленутым, чтобы прикосновения воздуха хоть немного облегчали твои страдания. И ты не кричал уже, а стонал, как взрослый, и я думал, что сойду с ума от этих стонов. Ночами я носил тебя на руках и пел нечто вроде колыбельной. Я не знал ни одной приличной колыбельной и только бубнил гнусаво: «Баю-бай, ай-яй-яй, тру-лю-лю, бу-бу-бу...» И так всю ночь, от одного угла комнаты до другого и обратно. И когда загоралось окно в доме напротив, мне становилось теплее и бодрее и не так было страшно жить. Впрочем, недели через две свет перестал зажигаться, и я понял, что женщина и ребенок уехали.

Я носил тебя по комнате до утра, до прихода энергичной медсестры, до укола, который я ждал и в который верил. За эти дни, по рекомендации друзей и знакомых, я приглашал платных детских врачей – разных – и тех, что за пятнадцать, и тех, что за двадцать пять. И ничего нового они не говорили. Антибиотики. Домашний уход. Организм должен перебороть.

Одна соседская бабка посоветовала купать тебя в отваре череды, другая велела заваривать ромашку. И я заваривал череду и заваривал ромашку. Заварил бы и черта лысого, лишь бы тебе полегчало. А когда самое страшное миновало и я заметил, что в воде ты успокаиваешься, стал купать тебя три раза на дню, подолгу, подливая в ванночку теплую воду.

Организм должен был перебороть. И он переборол. А иначе и быть не могло, ведь однажды ты уже выжил там, где погибала тысяча других. У тебя уже был опыт выживания, и, кроме того, ты родился личностью.

Да, я выходил тебя, мужик. И позже врачи говорили, что я закалил тебя тем, что не пеленал. С тех пор ты лежал в кровати голый, розовый, пухлый и совсем не мерз. (А через год я спустил тебя на пол и ты неуверенно зашлепал босыми ножками по паркету. Ведь ты и сейчас круглый год дома ходишь босиком, к ужасу всех подружек твоей матери...)

...Из больницы она вернулась через полтора месяца – тихая, слабая и словно пришибленная. К тому времени ты уже выправился и окреп и из апоплексического старика гнома стал превращаться в ребенка – рыженького, голубоглазого и сладкого.

Она вернулась днем, когда ты спал, откинув одну ручонку, а вторую потешно прижимая к груди.

Она остановилась на пороге твоей комнаты и долго стояла так, глядя на тебя как безумная, не решаясь подойти ближе. Стояла и тихо плакала, вздрагивая худой спиной. Потом отерла ладонью слезы и сказала не оборачиваясь:

– Я в долгу перед тобой на всю жизнь.

– Сочтемся, – сухо ответил я. – Свои люди...

Вот тут-то, мужик, мне и надо было опять достать свой чемоданчик, ведь я выполнил долг порядочного человека, я не дал тебе умереть. Тебе – чужому ребенку.

Да... Только вот то, что ты – чужой ребенок, я понимал теперь умом, так сказать, умозрительно. Но ей-богу, в тот день, когда твоя мать вернулась из больницы, я еще был настроен достать чемоданчик и валить отсюда на все четыре.

Да, говорил я себе, конечно, имеется налицо некоторая привязанность к малышу. Но ничего удивительного в этом нет. Когда в санатории месяц живешь в одной комнате с хорошим человеком, тоже грустно расставаться. Ничего, доказывал я себе, уедет – забудется. Мало ли чужих детей на свете...

Но уехать я не мог. Видишь ли, мужик, сказал бы я ему, выяснилось, что твоя мать тебя боится. Она попросту не знала, с какой стороны к тебе подойти, и с почтительной опаской наблюдала, как я привычно ловко переворачиваю тебя, кормлю. Когда она пыталась взять тебя на руки, ты орал и требовал меня.

Вообще, мужик, она была слаба, испугана, подавлена тем, что совсем незнакома с тобой. Я не мог уехать в тот момент, я должен был помочь ей узнать тебя. И кроме того, не по-мужски мне казалось, свалить на нее сразу всю эту огромную ношу со стиркой пеленок, готовкой и прочей веселой музыкой, какая сопутствует выращиванию младенцев.

Я позвонил Кирилл Санычу и вымолил еще неделю отпуска за свой счет, а когда прошла и эта неделя и вы с матерью стали потихоньку привыкать друг к другу, я вышел на работу. Но в первый день слонялся от одного кульмана к другому, смолил сигареты и представлял, что ты в эту минуту поделываешь – спишь, гукаешь гортанным своим голоском или сосешь из бутылочки, тараща вокруг темно-голубые зеркальные глаза.

Вечером я торопился домой, уверяя себя, что спешу помочь твоей матери со стиркой пеленок. Я лгал себе. Я торопился на встречу с тобой. Я начинал говорить с тобой уже на выходе из метро.

– Иду, иду, мой маленький, – бормотал я, – бегу... Вот уже по лестнице поднимаюсь... Уже ключи достаю...

...Когда тебе исполнилось два месяца, я сказал себе: хватит. Баста. Ты сделал все, что от тебя требовалось. Не будь тряпкой. Все равно ты не в силах простить ей ту проклятую нежность, ту извивающуюся ложь. Все равно твои руки никогда не коснутся ее плеч, ее груди с привычной лаской. А посему доставай чемоданчик и ощути наконец себя свободным человеком.

Так, мужик, я подбадривал себя все утро. Я принял душ, побрился и в последний раз перестирал в тазу накопившиеся за ночь грязные пеленки. Что ж, подумал я, теперь ей предстоит все это делать самой, как делают тысячи других женщин.

Я складывал в чемодан белье и рубашки, ты спал, а твоя мать сидела в кресле спиной ко мне, напряженно поднимая плечи, словно ожидая удара сзади.

Она молчала. Она упорно и беззащитно молчала. А я не собирался затевать объяснение в день моего ухода. К чему объясняться, мужик, все было ясно, и я давно переболел. Сейчас меня ничего не привязывало к этому дому. Ничего, кроме твоей кровати. Но и на нее мог в любой момент предъявить права другой человек. Так что все было ясно и просто, мужик, ясно и просто.

Когда я собрал чемодан, ты проснулся. И я зашел в комнату – попрощаться с тобой и как-то перебороть тоскливый страх в груди.

Ты лежал в кроватке, еще сонный, теплый, и важно на меня тарасился, словно собирался отчитать за что-то. Я подложил под тебя сухую пеленку, поймал и подержал в ладони брыкливую атласную пяточку, наклонился к тебе и прищелкнул языком. И тут случилось невероятное: ты вдруг улыбнулся мне широкой, беззубой, потрясающей улыбкой. Ты впервые сознательно улыбнулся мне, именно мне, показал, что отныне из обслуживающего агрегата я превратился для тебя в существо живое, важное и весьма тебе симпатичное. Несмышлениш, ты словно почувствовал, что я собираюсь бросить тебя, и предъявил свой единственный могучий козырь.

Я рванул дверь и вышел на кухню. И там, чтобы не завывать смертным воем, я шарахнул об пол три тарелки подряд – одну, и другую, и третью. Будь я проклят, сказал я себе, будь оно все проклято, почему я должен уезжать от своего ребенка?! И пусть мне кто-то посмеет сказать, что это не мой ребенок! А чей же, чей?! Я переломаю кости тому, кто сунется сюда за моим сыном, сказал я себе, я прошибу тому башку! И что-то не видать на горизонте того, кому бы, кроме меня, нужен был этот ребенок!

Потом я вернулся в комнату, раскрыл чемодан и стал вешать в шкаф свои рубашки. А твоя мать все так же молча сидела в кресле спиной ко мне, и спина эта о многом говорила...

А насчет того, кого я не видел на горизонте... Так вот, мужик, оказывается, все это время он был, понимаешь, был рядом с нами, бегал в больницу к твоей матери, мучился и страдал, но узнал я об этом позже, гораздо позже...»

... – Нонке-то? В сентябре будет одиннадцать. Она ничего, забавная. Глупая только очень. Любимое занятие – листать журналы мод под магнитофонные записи. Ни черта не читает, ни черта не знает, зато общественница. Староста класса. Но страшная балда! Представляешь, сказал я ему, недавно совершенно случайно вслушалась в программу «Время», а там как раз передавали насчет этого случая с Папой Римским. Нонка прибегает на кухню – глазища вытаращены, челка прыгает – и кричит родителям: «Вы здесь чай пьете?! А там убили папу Римского-Корсакова!» Хохма, да?..

Похожа? На Виктора похожа, сказал я ему. Мамина подруга, эта восторженная бегемотиха Маргарита Семеновна, уверяет, что мы с Нонкой «ужж-жасно похожи». Глупая баба, как мы можем быть похожи, когда Нонка – в своего отца, а я – в своего. Правда, па?

По-моему, все женщины, далее самые умные, ужасные дуры, ты не находишь? Почему негативизм? Просто я наблюдательный. Нет, они ничего не сделали мне плохого, но, думаю, все еще впереди. Ты встречал хоть раз мужика, сказал я ему, которому женщины не сделали бы в жизни ничего плохого?

...Да ни в кого я не влюблен, отстань, чего ты привязался! Это в меня влюблена одна... Ну есть одна, сказал я ему, из параллельного класса. Только мы поссорились перед отъездом, так что я считаю себя морально свободным...

А чего ты улыбаешься? Нет, я видел, ты улыбнулся! Да нет, правда, я совсем не переживаю, сказал я ему, только ведь все равно неприятно, когда тебя продают... А, неохота рассказывать... Ладно, я расскажу, только, пожалуйста... ну, ты сам понимаешь...

Понимаешь, сказал я ему, застукал ее с Романюком. Есть такой любимец женщин из 10 «Б». Спортсмен-бодрячок... Они из подъезда выходили, между прочим, совершенно постороннего подъезда. Вдвоем. Спрашивается – что люди делают вдвоем в чужом подъезде? Конечно, целуются...

А лично я, па, не потерплю предательства. Никогда и ни от кого. Это я решил твердо... Она знаешь как рыдала! А я показал себя настоящим мужиком. Я был холоден и вежлив, насмешливо вежлив. Она меня слезами орошала, а я сказал, что сожалею, очень сожалею, что доставил столько огорчений, и понимаю впечатлительную натуру, которая отдает предпочтение великолепным бицепсам Романюка. Тем более, сказал я язвительно, что самый могучий, самый чугунный бицепс у Романюка находится там, где у других людей помещается мозг... Неплохо да, па? Клянусь, это была импровизация. Почти...

Кстати, деликатный вопрос: какая дама будет освящать наш быт в это лето? Нет, правда, если таковая имеется, то как мне ее звать – по имени-отчеству или, как прежде, ну, там – тетя Валя, тетя Наташа, тетя Оля...

Почему не будет? Если ты думаешь, что я отнесусь к этому как-то не так, что я уже вырос и все такое, то ты ошибаешься. Нет, правда, я человек широкий, па, сказал я ему. При мне чувствуй себя свободно... В конце концов, это твое личное дело. Я даже не буду против, если ты вдруг соберешься жениться. Правда, правда, я отнесусь к этому вполне лояльно, сказал я ему... Не можешь ведь ты всю жизнь быть один.

Семейная жизнь, конечно, на мой взгляд, штука паршивая, но, как говорит наша соседка, надо иметь, с кем под старость выпить стакан чаю...

Вот я наблюдаю за своими: знаешь, бывает, за день насобачатся, особенно если оба в плохом настроении. Послушаешь, так и она ему жизнь испортила, и он ей что-то там поломал, а вечером глянь – она ему валидольчик тащит, а он ей пластырь куда-нибудь лепит.

Идиллия!.. Так что смотри, па, если тянет на такую бодягу – валяй, женись. А я, например, никогда не женюсь. Правда-правда, чего ты улыбаешься?

Ты поглядывай все же на дорогу, а... Что-то раньше ты так не лихачил.

Кстати, не кажется ли тебе, что пора этот убогий «запорожец» поменять на более пристойную тележку? Ну, на «жигули», например, или даже на «волгу». Как – где взять? Ой, не прибедайся. Изобрети какой-нибудь перпетуум-мобиле, тебе это раз плюнуть, получишь премию в десять тыщ, и... Не иронизируй, при чем здесь «мерседес»? Ошибаешься, я патриот отечественного автомобилизма...

Вот, покупаешь, значит, «волгу», а «запорожец», чтоб не жалко было выбрасывать, отдаешь мне. Я, так уж и быть, приму эту рухлядь. Ха! Шучу. Чихал я на все блага вашей человеческой цивилизации. Что? Да... Да, сказал я ему, абсолютно все равно. Что есть, что носить, где жить и на чем ездить. А главное – все равно, что про меня подумают.

Вот взять хотя бы эту двойную фамилию. Знаешь, как наши дубари в классе ржали... Интересная штука: у нас есть девочка по фамилии Свиная и парень по фамилии Покойный – и хоть бы что. Никакого эффекта. А моя – через черточку – привела их в дикий восторг и вызывала взрыв их убогой мозговой деятельности...

Да нет, я не всех презираю, сказал я ему, просто учусь с ними с первого класса, знаю всех как облупленных, и все они осточертели мне до чертиков. Это как в нормальной семье – любовь любовью, а грызня грызней. Потому что люди надоедают друг другу очень быстро, ты не находишь?..

Кстати, о семье: история с моей двойной фамилией потрясла основы нашей милой семейки... А? Да черт их знает почему. Во всяком случае, изрядная нервозность наблюдалась, сказал я ему.

Ты же знаешь, мать вообще особа нервная, а тут, месяца за два до моего шестнадцатилетия, стала прощупывать почву насчет этого... ну, чью, мол, фамилию я возьму. Нет-нет, да осторожно так потрогает эту опасную тему. Как больной зуб раскачивает...

Почему опасную? Знаешь, сказал я ему, не хотел тебе говорить, но ведь мать давно осторожненько мне намекала, что, мол, Виктор меня воспитывает да, мол, прекрасно ко мне относится, что некоторые люди, мол, берут двойную фамилию, ну и... прочая бодяга...

Да нет, ты не подумай, сказал я ему, не свинья же я и Виктору вполне благодарен за то, что все эти годы он не лез в душу, не качал права и вообще оказался очень приличным мужиком. Могло ведь и хуже быть. Но... при чем тут мой паспорт и моя фамилия? Нет, правда, мне не жалко, но не могу же я приписать себе фамилии всех хороших знакомых, верно, па? У меня есть собственный отец и собственная фамилия, и, ей-богу, и тот и другая меня вполне устраивают...

Я матери так и сказал, когда она допекла меня этими намеками. И надо было видеть, что тут началось! Слезы, капли Вотчала, щупанье пульса – она специалист по части истерик.

Ладно, думаю, я вам устрою двойную фамилию! Пошел и устроил. Приношу домой паспорт, показываю, и тут начинается второй акт трагикомедии, на сей раз в главной роли – кто бы ты думал? Виктор!

Вот уж не подозревал, что ему есть дело до того, чью фамилию я буду носить – твою или его.

Он заперся в ванной и сидел там полдня. Надо было видеть эту картинку, мать прыгала у дверей ванной, как квохчущая курица: «Витя! Витя!» – а оттуда шалашинское такое рычание: «Я брре-эюсь!»

Умора... Что ты на меня так глядишь?.. Да нет, просто лицо у тебя какое-то странное, сказал я ему... И смотри ты на дорогу, бога ради, охота живым до дома добраться...

...Так вот, мужик, насчет того, кого я не видел на горизонте. Первый раз он появился в день, когда тебе исполнилось три года. К этому времени я напрочь забыл, что ты не моя кровинка. То есть не то чтобы забыл. Очень редко эта бесстрастная, обесцвеченная временем мысль всплывала, как совершенно посторонняя информация. Как, скажем, сообщение о встрече глав двух европейских государств или о строительстве атомной станции где-то в Швеции – нечто безусловно существующее, но не имеющее к нам с тобой ни малейшего отношения. Я любил всюду таскать тебя с собой – по магазинам, на работу, в поликлинику. Ты был общительным, забавным мальчуганом и мгновенно заводил знакомства со всяким, кто обращал на тебя внимание. И обязательно в очереди находилась детолюбивая бабка, подпавшая под твое обаяние.

– Сразу видать – папин сын, – благосклонно замечала она, когда ты с размаху влетал в мои колени.

– А что – похож? – спрашивал я, с горделивой небрежностью вороша твои пушистые волосы.

– Вылитый, – убежденно отвечала она. И в моем сердце, на донышке, в глубине, ее слова отзывались тихой и сладкой болью...

В день, когда тебе исполнилось три года, мы до изнеможения кутили в детском парке, и все аттракционы работали на нас. А на обратном пути заехали на птичий рынок и купили Главный Подарок в литровой банке: двух жемчужно-серых гурами, двух кардиналов и парочку радужнохвостых гуппи.

Тебе давно пора уже было спать, ты устал от длинного, утомительно-веселого дня рождения и плелся за мною, похныкивая от усталости и перевозбуждения. Когда мы завернули в наш двор, я остановился, чтобы взять тебя на руки, и в этот момент на лавочке возле песочницы увидел человека, чем-то мне знакомого. Я скользнул по нему взглядом и отвел глаза, но в следующую секунду память вдруг огрела меня жгучей оплеухой, и я вспомнил все: давний день рождения, и Тарусевичей, и незнакомую чету, случайно пришедшую на огонек.

Словом, это был твой отец. И он смотрел на тебя не отрывая глаз.

Уж не знаю как, должно быть, ладони вспотели – банка выскользнула у меня из рук и грохнулась об асфальт.

Они бились в лужице – жемчужно-серые гурами, красавцы кардиналы и парочка радужнохвостых гуппи. Ты потрясенно смотрел на их предсмертные прыжки и вдруг заревел – густым протяжным басом. Вот тогда, мужик, у тебя был бас. Тогда, а не сейчас. Сейчас все-таки баритон...

Я подхватил тебя на руки и пошел, плечами заслоняя от взгляда человека на лавочке. И хоть для этого, мужик, у меня были достаточно широкие плечи, все равно я чувствовал себя серым гурами, бьющимся об асфальт в предсмертном ужасе.

Когда мы пришли домой и ты наконец был успокоен, накормлен и уложен, я вошел в комнату твоей матери и бесцветным, ровным голосом сказал, чтоб предупредили кого следует, если еще раз увижу в нашем дворе... и не в нашем тоже... если увижу вообще, даже случайно, на другом конце города, – словом, все, что обычно говорят люди в бесправном и беспомощном положении вроде моего...

С того дня я постоянно чувствовал себя зверем, обложенным охотником. И при мысли об этом меня дрожью прошибала ярость зверя, у которого отнимают детеныша. Тогда я не знал еще, что отец твой вовсе не охотник, а тот же зверь, обложенный, как и я, азартной судьбою.

Второй раз она сшибла нас на даче.

В то сырое сумрачное лето тебе исполнилось пять, ты скучал без дворовых приятелей, и с самого утра, едва становилось очевидным, что и сегодня погода не задалась, ты сидел на веранде, вяло выкладывал из кубиков бастионы и ждал моего приезда из города.

Унылое лето я расцвечивал для тебя бесконечными историями про лесника Михеича и его верных зверушек.

Этот Михеич выходил у меня помесью лихого ковбоя с дедом Мазаем, а каждая очередная история напоминала походный суп, в который бросают все, что есть под рукою, – тушенку, рыбные консервы, колбасу, макароны. Но ты поглощал это варево с неизменным восторгом.

Очень скоро Михеич мне осточертел, но вечером, едва я переступал порог террасы, ты бросался ко мне с радостным воплем, предвкушая очередную порцию походов. После ужина я укладывал тебя на квадратную, с цветастыми занавесками кровать, заваливался рядом, измочаленный после рабочего дня, магазинов, очередей, электричек, ненавидя Михеича и его зверушек и вяло соображая, куда бы еще послать героя и зачем.

В этом придуманном мною лесу кроме добродетельного ковбоя Михеича и его смекалившей внучки Мани действовала еще разная коммунальная сволочь – лешие, ведьмы, водяные, домовые, а также представители животного мира всех широт, от белого медведя до крокодила.

Сейчас уже не помню, какие именно перипетии выпадали на долю героев, но недели через две я выдохся и каждый день кланчил у сослуживцев какой-нибудь свежий сюжетик на вечер для Михеича.

В то воскресенье, когда ты немилосердно рано разбудил меня, хлопая ладошкой по носу, по губам, по закрытым векам и повторяя: «Папа, я встал, папа, я проснулся, открой глаза, скорей, на окнах капнушки просохли», – в то воскресенье впервые за много дней показалось солнце. И к полудню оно жадно слизало влагу с кустов и трав, просушило ступеньки крыльца и выкатилось на ребристые крыши дач.

Мы пошли гулять и на радостях долго бродили с тобою, забрели на соседнюю станцию, вышли к рынку и купили у опрятной бабки два больших соленых огурца.

Домой вернулись голодные, намаявшиеся и очень довольные жизнью.

Твоя мать накормила нас обедом и ушла на станцию за продуктами, а мы с тобой завалились спать, предварительно, конечно, обсудив небольшое ограбление лесной избушки коварной, но довольно симпатичной Бабой-Ягой.

– Знаешь, какое мое самое любимое счастье? – пробормотал ты, уже осоловев. – Спать, гулять и кушать...

Наконец ты уснул, а я лежал рядом, привалясь щекою к твоему русому пушистому затылку, смотрел в окно и думал – сейчас не помню, конечно, о чем.

Сквозь дрему я слышал, как скрипнула калитка, прошелестели по траве чьи-то шаги. Не знаю, каким чутьем, каким звериным чутьем я почуял неладное, но вдруг открыл глаза и резко повернул голову к окну.

Там, приблизив к стеклу лицо и соорудив из ладоней козырек, с жадной тоской вглядывался в комнату твой отец. Две-три секунды, оцепенев, мы глядели друг на друга. Кровь бухнула в мои виски, подбросила меня, швырнула к двери, я шибанул ее кулаком и вылетел во двор.

Твой отец убежал по тропинке к калитке. Я бросился за ним – догнать... Избить? Убить? Не знаю, не догнал, слава богу. Он удивительно быстро бежал для своей довольно внушительной комплекции. Впереди мелькали мокрые пятна на рубашке, багровая от напряжения блестящая лысина.

Выбежав на главную улицу дачного поселка, я столкнулся с нашей соседкой, и обалделое выражение ее лица меня остановило. Я вдруг увидел со стороны, что в трусах и майке мчусь по улице за лысым дядькой.

Я остановился, свернул в переулок и там, под забором чьей-то зеленой веселенькой дачки, долго сидел в траве, опоминаясь.

Тоска и страх стояли по обе руки от меня, тоска и страх... Надо было догнать его, сказал я себе, догнать и вытрясти его жалкую душонку. Чтобы неповадно было шляться крадучись по чужим дачам, высматривать чужих сыновей.

Тоска и страх с обеих сторон вкрадчиво взяли меня под руки и повели по переулочку к нашей даче. Но было еще одно чувство, которое сверлило мою душу, о которое я спотыкался, как о сухую корягу. И я вдруг понял, что это – жалость. К покрасневшей от напряжения лысине, к мешковатой, нелепой в беге фигуре.

Дерьмо, сказал я себе, это ты здесь чужой, а он пришел взглянуть хоть одним глазком на свою женщину и своего ребенка. Это ты здесь дутый хозяин положения, на самом-то деле ничего тебе здесь не принадлежит. Все у тебя – понарошку, как у липового ковбоя Михеича. Липовая жена, липовый сын...

Господи, что происходит с нашей жизнью? Кто поставил ее с ног на голову и зачем, хотел бы я знать...

На террасе тихо возилась с посудой твоя мать. Боясь взглянуть на нее, я прошел в комнату и прилег рядом с тобою. Сердце мое так колотилось, что я отодвинулся, боясь тебя разбудить. Вот тогда явилась и тяжело придавила грудь мысль, которую все эти годы я трусливо гнал от себя. Это конец, подумал я. Еще день, неделя, месяц – когда-нибудь нам придется с тобою расстаться.

Так оно и случилось.

Безотрадное лето перетекло в свинцовую тяжесть осени. Мы перебрались в город, и вскоре, в один из таких дождливых, неуловимо прощальных вечеров, произошло, наконец, наше единственное объяснение с твоей матерью...

Ты давно уже спал, а я сидел за работой в соседней комнате и смолил одну сигарету за другой, потому что ничего у меня в тот вечер не клеилось, как и вообще в ту осень. Настроение было тяжелым, я словно ждал какого-то несчастья.

Поэтому, когда твоя мать постучала и вошла в комнату, мое сердце стукнуло дробно и тяжело, как дробил подоконники осенний дождь.

Я сидел не оборачиваясь, как сидела она в тот день, когда я собирался покинуть этот дом. По тому, как тихо, словно приготавливая меня, она вошла, я все понял. Я все понял, мужик, и, ей-богу, не стоило даже начинать этот бесполезный разговор. Но твоя мать начала его.

Наконец-то, сказала она, обстоятельства расставили все по местам. Обстоятельства распорядились так, что наше невыносимое мучительное сосуществование должно прекратиться.

Она говорила тусклым голосом, тихо и устало. Звук этого голоса мягко толкался в мою спину и соскальзывал на пол.

Я жду второго ребенка, сказала она, Виктора приглашают в новосибирское издательство, дают квартиру, пока двухкомнатную, и послезавтра мы едем. Билеты уже взяты.

Послезавтра, подумал я, послезавтра...

Развод, сказала она, оформлю там, ты только пришлешь бумагу с подписью. Разведут нас быстро, ведь я жду ребенка. Ты не беспокойся ни о чем, тебя это не затронет.

Меня это не затронет, подумал я.

И вот еще что, сказала она таким же серым, уставшим голосом, не бойся, Филипп для всех останется твоим сыном. Твоя фамилия, твоё отчество. Я могу даже отправлять его к тебе на лето. Не нужно травмировать ребенка, он любит тебя, считает отцом, пусть будет так, я решила... Виктор согласен, он на все согласен, только чтобы мы скорее уехали и весь этот кошмар остался позади...

Ах, он согласен, сказал я, не оборачиваясь и яростно сгибая пальцами транспортёр, подвернувшийся мне на столе, ну что ж, он очень добр ко мне. А где был этот добряк пять

лет назад, когда его двухнедельный сын умирал на моих руках, поинтересовался я. И чтобы говорить спокойно, я, мужик, прилагал дьявольские усилия, потому что это «послезавтра» долбило меня в висок и заколачивало гвозди в мое горло.

Ты несправедлив, потому что ничего не знаешь, возразила она. Виктор очень страдал, он хотел забрать ребенка в тот же день, когда меня увезли в больницу, но я не позволила: он жил в плохих условиях, снимал где-то комнату... Я запретила ему появляться в нашей жизни...

Ах, вот как, понимаю, я был более подходящей кандидатурой на роль отца в связи с лучшими квартирными условиями, вежливо заметил я, ну а дальше, а потом, когда ты вышла из больницы?

А когда я вышла из больницы, сказала она тихо, я увидела, как ты привязался к мальчику, и боялась тебя ранить.

Я засмеялся, мужик, я зло рассмеялся, потому что залюбовался этим чисто женским завитком: убивая человека, она боялась *его ранить*.

Я по-прежнему не оборачивался к ней, я боялся обернуться, чтобы не убить ее. Чтобы не схватить, не сжать обеими руками эту жалкую худую шею; как я был близок, мужик, к тому, чтобы убить твою мать!

Мразь, думал я, дрянная шлюха, выбирающая, где лучше, все эти годы она спала с ним, а я воспитывал их сына, я любил его, я люблю его больше жизни, о господи, она выкрутила мне руки этой любовью, я бессилён, я тряпка... И все это время в висок меня долбило пронзительное «послезавтра».

А ты спал за стеною, ты спал в полной уверенности, что наша с тобою прекрасная жизнь не кончится никогда, как никогда не кончаются небо, воздух, деревья... Наша с тобой жизнь должна была кончиться послезавтра.

Я вспомнил красную от напряжения лысину твоего отца, его мешковатую фигуру... «Я запретила ему появляться», «Виктор согласен, он на все согласен...» И впервые подумал о нем: бедняга...

Наконец, я обернулся к ней.

Глупая, жестокая баба, сказал я негромко, что же ты натворила со мной и с ним, что ты наделала с двумя мужиками!

И тогда она вскочила и затряслась. Она закричала. Она кричала шепотом, глядя на меня сквозными от ненависти глазами, давясь слезами и исступленной яростью.

Нет, крикнула она, это ты, ты во всем виноват, ты все это сделал своими руками! Ты оттолкнул меня, отпихнул брезгливо ногой, как провинившуюся собаку! О, ты-то чистый, возвышенный, принципиальный, ты стерильный, как хирургическая салфетка! Будь ты проклят со своими благородными принципами, ты растоптал меня! Все эти пять лет каждую минуту ты давал мне понять, что я – низкая, подлая тварь и недостойна быть ни твоей женой, ни матерью Филиппа.

Я не забуду, я никогда не забуду, как все эти пять лет ты оттирал меня от моего мальчика – взглядом вежливо-соседским, голосом вежливо-презрительным. Подразумевалось, что ты для него важнее в сто раз, чем я, что без тебя он жить не может. Ты настойчиво, упорно отнимал у меня сына! Он обожает тебя, копирует твои жесты, твою походку. Ты делал все, чтобы мне страшно было уйти, чтобы я боялась оторвать его от тебя!..

...Да, я оступилась, сказала она надрывно, это было, да, единственный раз я изменила тебе – глупо, нелепо, как это бывает в поездке. И сразу возненавидела его, этого случайного знакомого, а главное – возненавидела себя, потому что любила тебя, только тебя всю жизнь.

А он прилип ко мне, как тянучка, ни на шаг не отходил и, когда вернулись в Москву, каждый день являлся ко мне на работу. Отцепиться от него было невозможно!

Она говорила быстро, сбивчиво, плача и мерцая в полутьме глянцево-потным лбом, а я думал только: послезавтра, послезавтра...

Что ты знаешь, сказала она, какой смертельный ужас я испытала, когда поняла, что беременна. Я заметалась по врачам, у меня и в мыслях не было рожать от этой дорожной связи, потому что все эти годы я любила тебя и мечтала о ребенке, твоём ребенке...

Но все врачи в один голос говорили, что мне неслыханно повезло, что случай один из тысячи, и если я упущу этот шанс, то на другой уже могу не надеяться...

Она плакала, но продолжала говорить – торопливо, жалко, словно боялась, что я прерву, не дам досказать, доплакать, добывать ее боли...

Я ненавидела свой живот, сказала она, и того, кто там завелся. Я даже не представляла его своим ребенком, мне казалось, я ношу в себе коварного хитрого зверька, пожирающего мою душу и нервы.

Я никогда не лгала тебе и тут собиралась все рассказать, рассказать беспощадно все, по порядку, зная, что потеряю тебя навсегда.

Но едва я начала этот разговор, едва проговорила, что жду ребенка... Нет, сколько живу, я буду помнить твои глаза в этот миг и приоткрытые по-детски губы. Ты был оглушен счастьем, и у меня не повернулся язык, понимаешь, просто не повернулся язык... И тогда меня словно озарило. Я поняла, что должна забыть все, вырвать из памяти ту поездку, должна внушить себе, что это твой, твой ребенок! И мне это удалось. Почти...

Я прогнала Виктора, запретила ему появляться. Но каждый день он приходил к проходной института и на расстоянии шел за мною до дома. Больше всего на свете я боялась, что ты узнаешь обо всем.

Разве ты сможешь понять, сказала она, как рвалась моя душа надвое в те месяцы, какие кошмары снились мне по ночам, как часто я желала смерти этому ребенку. Но он не умер, он рос, он рос во мне, он хотел родиться и жить.

Что ты знаешь, сказала она, когда мне принесли его в первый раз и я увидела, что мальчик – вылитый Виктор и всю жизнь будет маячить передо мною этим чужим, случайным, не твоим лицом, я захотела умереть сама, господи, как я захотела подохнуть! Разве ты поймешь когда-нибудь, какую тоску, какой ужас испытывала я, молча воя по ночам в казенную подушку, там, в палате, среди чужих женщин! А потом, когда я увидела твое лицо и поняла, что ты все знаешь, – вот тогда начался настоящий ужас в моей жизни.

Да, ты не ушел, сказала она, но ты и не остался, и это было страшнее всего – ты казнил меня все эти пять лет каждый день. Каждый божий день я ждала, что ты уйдешь. Сначала я на что-то надеялась. Мне казалось, что если ты так любишь мальчика, то когда-нибудь поймешь и простишь меня, его мать, поймешь и простишь.

Каждую ночь я лежала вытянувшись, с обмирающим сердцем прислушивалась к твоим шагам в коридоре и ждала, что вот сегодня ты наконец войдешь и я брошусь к тебе, вцеплюсь в твои колени и буду выть, выть и ползать, пока ты не простишь меня, и тогда все у нас опять будет хорошо.

Нет! Твои шаги неизменно проходили мимо двери, а днем ты стучал, прежде чем войти. Ты вежливо стучал. О, ты воспитанный человек, дорогой мой, продолжала она. Пять лет наша квартира была коммуналкой.

А я все равно ждала. И гнала Виктора прочь. Я гнала его, постылого, четыре года, пока еще на что-то надеялась. Потом я сдалась.

Да, крикнула она, да, я слабая, я не могу быть одна! Ты сильный, ты гордый, ты благородный; не человек, а лезвие ножа. Пять лет ты убивал меня ежедневно, а я хотела жить! Понимаешь, я хотела жить потому, что люблю жизнь!

Мне тяжело уезжать, сказала она, я не люблю его, но рядом с ним я чувствую себя женщиной, а не паршивой собакой. Поэтому я уеду и увезу Филиппа. Камень, пусть тебе будет больно! Может, когда-нибудь ты поймешь, чего мне стоили эти пять лет...

Я не сказал ей ни слова на это, и она умолкла. Мы сидели в полумраке комнаты, в разных углах, каждый со своей бедой, и каждый, должно быть, чувствовал, что, проговори он еще неделю, другой его не поймет все равно, не захочет понять. Я говорил себе: ну что ж, ведь бывает так, что, вырастая, дети уезжают и живут в других городах. Будем считать, что ты слишком быстро вырос, слишком быстро уехал от меня. Будем так считать...

Когда она поднялась, чтобы выйти, я спросил, не поворачивая головы:

– Значит, я могу надеяться...

– Даю тебе слово, – сказала она твердо, – мальчик ничего не узнает. Я расскажу ему потом, когда из вас двоих кто-то умрет.

В ту минуту, мужик, эти слова покорили меня холодной уверенностью в том, что кого-то из нас она похоронит. Ну что ж, подумал я, в таком случае неплохо было бы первым попасть туда мне...

...Через день ты уехал. Даже проводить тебя мне не разрешили: нашу с Виктором встречу в аэропорту твоя мать считала излишней.

Я в последний раз одевал тебя в прихожей – пальтишко, меховую шапку, ботинки, а ты пузырил щеки и громко изображал губами, как они лопаются. Ты не знал, что уезжаешь навсегда, для тебя наспех слепили какую-то версию с поездкой на неделю к маминой тете.

Я никак не мог завязать тесемки твоей шапки не потому, что отвратительно подрагивали руки, а потому, что ты, как всегда, ни секунды не стоял на месте.

– Постой спокойно, сынок, – срывающимся шепотом велел я.

Тогда мне казалось странным и даже обидным, что ты ничего не чувствуешь. Смешно – ведь тебе исполнилось всего пять лет...

Наконец шапка была завязана, ты поднял голову и снизу вверх посмотрел на меня, внимательно и лукаво.

– Папа, а ты умеешь из кишков загонять в щеки воздух? – спросил ты серьезно.

Я схватил тебя в охапку, зарылся лицом в бурую ласковую овчину шапки и воротника, и прошло несколько мгновений, прежде чем я взял себя в руки.

Твоя мать стояла с чемоданом в дверях, бледная, с истерзанным лицом. И когда во дворе я усаживал вас в такси, она вдруг расплакалась и подалась ко мне – наверное, обнять, попрощаться по-человечески...

Я не шагнул навстречу и потом, глядя вслед выезжающей со двора машине, подумал, что, вероятно, она права: я – камень и нет мне оправдания, если все мы несчастны...

...Ну вот, мужик, сказал бы я ему, такие финики... Так что извини, дружище, ни седой гривы, ни американской моей подтянутости ты не унаследуешь. Готовься к брюшку и лысине своего отца, сказал бы я ему, и слова «своего отца», наверное, обожгли бы мое небо...

Нет. Нет! Нет! Никто и никогда не вырвет из меня этих слов! Никто и никогда не заставит меня рассказать ему правду! Я зубами буду держаться за мою многолетнюю ложь.

Что?! Какой Виктор?! – скажу я ему. Что за чушь пришла тебе в голову! Посмотри в зеркало, сынок, скажу я ему, ты же похож на меня до смешного – нос, глаза, брови, дурацкая привычка сдвигать со лба волосы... Да о чем говорить?! Что за глупые шутки, скажу я ему, ты же толковый мужик и понимаешь, зачем они состряпали эту версию!

Да-да, именно так! И кто осудит меня за это? Им не удастся отнять его во второй раз. Я буду стоять на своем до конца, и моя праведная ложь перешибет их гнилую правду!

...Я держу руль напряженными ладонями и поминутно взглядываю на его профиль. Перед отъездом мальчик подстригся, и мне забавно видеть, как, по привычке вытягивая губы, он продолжает сдвигать со лба несуществующий чуб.

Я счастлив... Он со мной, со мной, я вытащил его, мы будем вместе целое лето. Сначала махнем в Карелию, на озеро. Потом, как всегда, – в Коктебель. Потом... видно будет, сообразим что-нибудь...

А через год я вытяну его в Москву, поступать в столичный вуз. Что бы он там ни вякал, мой щенок, поступать он будет и поступит, куда наметим. Я пущу в ход все свои связи. Слава богу, друзей у меня достаточно. Он останется со мной, он должен остаться со мной, ведь, кроме него, у меня нет никого на свете...

Я счастлив... Ладно, говорю я себе, бог с нею, двойной фамилией. В конце концов, мать дала ему жизнь и обожает его, отчего бы ее фамилии не стоять в его паспорте»

Ты совсем спятил, старый осел, говорю я себе, решил узурпировать мальчика, а он взрослый уже, имеет право выбирать собственный образ мыслей и, ей-богу, вполне имеет право быть сейчас глупым щенком... Ладно, говорю я себе, пусть так... И Мусин-Пушкин, и Голенищев-Кутузов, и кто там еще из прошлых столетий... Ладно. Не в этом дело.

Я смотрю на дорогу и слышу свой голос – размеренный, нудный. Тебе следует помягче быть с мамой, говорю я, мама замечательный человек, просто она нездорова и много чего в жизни перенесла... И Виктор прекрасный человек, говорю я, умница, трудяга, его последняя книга о русской иконе четырнадцатого века удивительна...

И всю дорогу на радостях я несу воспитательную чушь, а он огрызается, и по его щенячьему твяканью я чувствую, что он тоже счастлив. Мы же три года не виделись!

...Я заворачиваю в наш двор, подкатываю к подъезду и глушу мотор.

– Наконец-то! – говорит мальчик, возбужденно оглядывая знакомый двор, грибок с песочницей, турник, скамейки у подъездов. – Доволокла таратайка...

Мы вытаскиваем из багажника чемодан, запираем дверцы машины и поднимаемся по лестнице. Он идет чуть впереди, что-то мне рассказывая, при этом взмахивая пятерней, совсем как я.

На наши голоса выглядывает соседка по лестничной клетке, милейшая бабуса Нина Семеновна.

– Филиппок приехал! – восклицает она, лучась сухим старческим личиком. – Дождались... Вымахал, Филипп Георгиевич, вымахал... А тебе тут телеграмма. Только что почтальон был, я расписалась.

Мальчик с недоумением берет протянутый бланк, распечатывает, и я вижу, как цепенеет его затылок и бледнеет щека. Он пытается что-то сказать, но только мычит, как глухонемой, тыча мне телеграмму. Я выхватываю из сведенных пальцев серый бланк и, прежде чем понимаю смысл напечатанного, несколько секунд тупо смотрю на гладкую и короткую, как вой падающего снаряда, фразу:

«Возвращайся немедленно папа умер».

По субботам

Под утро к ней приходили два сна. Один длинный, обыденный и скучный, у него много лиц, и все они кого-то напоминают. Этот сон наполнен раздраженными голосами и бесцельными действиями. Он ничем не отличается от будней, поэтому тяжел, скучен и сер...

Она просыпается и смотрит в окно. В доме напротив горят три квадратика – значит, уже часов шесть. Она долго лежит с открытыми глазами и думает. Потом небо светлеет, и плечам становится прохладно. И вот тогда возникает сон Второй.

Сначала он прыгает на форточку и долго сидит там, потом мягко и бесшумно спускается на подоконник. Она знает, что Сон здесь, но на него нельзя смотреть – улетит. Наконец он усаживается где-то у ее плеча и начинает легонько дуть ей на мочку уха. Это ужасно приятно... Все предметы вокруг становятся зыбкими и погружаются в мягкий сиреневый свет, который постепенно вкрадывается в ночную комнату. Теплая и прозрачная дремота наплывает на нее, обнимает, качает на своих коленях, и она боится пошевелить головой, чтобы не отдавить лапку Второму сну...

Он здесь. Он легкими прикосновениями гладит ее лоб, щеки, плечи, рассыпает на темном небе закрытых глаз разноцветные калейдоскопические звезды и легко смешивает реальное с нереальным, как мягкие пластилиновые шарики.

...А совсем утром ей приснилось, что ее зовут обыкновенным хорошим именем Таня, таким уютным, домашним...

– Ева! – бабка стучала в стенку из кухни. Значит, завтрак готов, пора вставать. – Евка!

– Ну что ты стучишь, как гестапо! – сонно пробормотала она, заведомо зная, что бабка не услышит и будет колотить в стенку до тех пор, пока Евка не появится на кухне.

Она с закрытыми глазами нашарила шлепанцы и поплелась в ванную.

«Эта физиономия, – подумала она, разглядывая себя в зеркале над умывальником, – всегда напоминает мне о чем-то грустном».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.